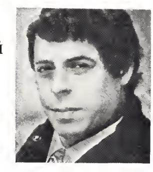
Рудольф Ольшевский



Корни

Нам не уйти, не скрыться от погони.
Куда ни кинься, в каждой стороне
За нами вслед невидимые корни
Скользят, не обрываясь, в глубине.
Во времени у них другие сроки,
Не те, что нам измерить суждено.
Они несут остуженные соки
Эпох и судеб, канувших давно.
Как трещины на высохшей иконе,
В глубинах темных, в тайниках глухих
Мои воображаемые корни
Рисуют лица прадедов моих.
Нас связывают с прошлыми веками
Наследственности тайные мосты.
Слепые корни, пробивая камни,
Врываются в глубинные пласты.
По щупальцам, закрученным в спирали
Землевращеньем, в нынешние дни
Восходят и тревоги, и печали,
И память, что предчувствию сродни.
Становимся не старше мы — древнее,
Соединив с грядущим старину.
И в этом мы похожи на деревья,
Растущие и в верх и в глубину.

Флуер[1]

Раньше так бывало — чуть светло,
Чуть над крышей небо озарится,
Иорга будит спящее село
Голосом какой захочешь птицы.
Жаворонка! Даст такую трель.
Соловья! И соловей в свирели.
А теперь! По городу теперь
Важно ходит Иорга при портфеле.
Только, несмотря на пост и рост,
Сердце горячит былая слава.
Свистни — и тебе ответит дрозд
По-лесному длинно и картаво.
Попроси: «Послушай, Иорга, спой!»
Посреди проспекта и апреля
Молча он портфель раскроет свой
И достанет флуер из портфеля.
Отойдет к витринам под навес,
Пальцы к звучным дырочкам приложит,
Дунет в бузину — и глянет лес
В души обернувшимся прохожим.
Как течет из родника вода,
Как их кличут из лесу синицы —
Слушают, присев на провода,
Городские выцветшие птицы.
Плач кукушки падает в росу,
И трещит сорок скороговорка.
— Это потому, что рос в лесу
Этот флуер,— объясняет Иорга.
А вот этот вырос у воды.
Тронул — ветерок повеял летний.
А вот этот — у ворот вдовы,
Дунул — и задул беду и сплетни.
Этот под горой рожден на свет,
Заиграешь — эхо отзовется,
А вот этот восемьдесят лет
Был доской скамейки у колодца.
Иорга флуер достает со дна,
Осторожно, вроде в самом деле
Может расплескаться старина
В деревянном горлышке свирели.
Так, как будто вправду прожил сам
Долгий век и радостно и горько,
Этот флуер приложив к устам,
О себе рассказывает Иорга.
И плывет над городом светло,
В дымке, окруженное лесами,
Маленькое отчее село
С Иоргиными синими глазами.

[1] Народный музыкальный инструмент.

Пора винограда

Петух зовет не в огород, не в сад.
Торжественно на пожелтевшем склоне
Берут легко, как птицу, виноград,
И чуткими становятся ладони.
С лозы снимают гроздь, не торопясь,
Без суеты рука куста коснется,
Не испугав его, не руша связь
Земли, созревшей ягоды и солнца.
Янтарная и звучная пора
Высокого сентябрьского лада.
В расшатанных корзинах мастера
Несут живое тело винограда.
И складывают у грузовика,
Поставив на весы свой груз вначале,
И снова по лозе скользит рука,
Как будто пальцы струны перебрали.

Хлеб

У села особый календарь.
Листья и трава — его страницы.
Здесь начало года не январь,
Здесь отсчет ведется от пшеницы.
Колос — мера времени села,
Месяцы забудут и недели,
Но припомнят: Настя родила
В дни, когда озимые посеяли.
Если не о главном говорят,
Есть другая времени примета.
Скажут: гости были в листопад,
Приболел, когда кончалось лето.
Скажут: прохудилась в дождь изба,
В гололед зашли в село косули.
Люди, что посеяли хлеба,
Не желают поминать их всуе.
Только трудный человечий век
Ставят рядом с хлебом в сельской доле.
Говорят: вот умер человек
В пору, когда рожь цвела на поле.
Говорят, в село жену привез,
Дом построил, выкопал криницу
В пору ту, когда пошли уж в рост,
Потянулись стебли у пшеницы.
Путь от посевной до молотьбы
Долог: то дожди, то град, то сухо.
Оттого-то мерою судьбы
Стала хлеба этого краюха.

Владимир Андреев

Памяти отца

Далекие листья шумели.
Метели чужие мели.
И падали люди в шинелях.
И вновь поднимались.
И шли...

Сквозь версты бушующей бури
И черную чащу свинца,
В обычной солдатской фигуре
Я все же
        узнал бы отца.

Узнал бы — у самого сердца
От пули хранил он в бою
Мою фотографию детства —
Горящую
        память свою.

И долго мне слышать придется
Сквозь сон,
        раздвигающий мглу,
Как сердце отцовское рвется...
А я уж помочь не могу...

На отдыхе

Задумчивые росы
Да волны по реке.
Байдарки, как стрекозы,
Мелькают вдалеке.

А гуси над долиной
Несутся чередой,
Похожи на кувшины
С живительной водой.

Глядим вдогонку птицам,
Аж слезы из очей.
И вытянуты лица,
Как пламя у свечей.

Земляные работы

Котлован бурлит, как кратер.
Скрепера, пыхтя, ползут.
Мой характер экскаватор
Знает,
    дьявол,
        наизусть.

Кубовик — детина славный!
Спора нет — куда силен!
Две ватаги самосвалов
Укатал
    за смену он.

Только ухают
        в ухабах
МАЗов крепкие зады.
...Горло сохнет у прораба,
(Кто бы дал глоток воды).

— Что ж, бульдозер, ты, тетеря,
Хорохоришься, поди!!
Слева — кабель и деревья.
Осторожно!
Обходи!

Ты прости,
        земля-планета,
Землекопам древний грех,
Что приходится вот этот
Перекраивать рельеф...

Нам монтажники на пятки
Наступают все больней,
С них, конечно,
        взятки гладки,
Нам еще бы тройку дней.

Туп копер,
        но крепок в лапах,
Все нахрапом,
        все нахрапом
Забивает сваи, бьет.
А компрессор с мирным сапом
Грудь небесную сосет.

Начало весны

Петушиные
        крепнут песни.
И слабеет ледок
        поутру,
И так хочется
        занавеске
Биться парусом на ветру.

Воробьи,
        суетясь на деревьях,
Чистят бойко свои носы,
У погребицы
        на сугреве
Кот настраивает усы.

Заворкует от поля до поля
Под моею походкой снег,
И к полудню
        водою полой
Наполняется свежий след.

И очнутся,
        воспрянут зерна
Сквозь буксующий гул машин.
И шарахнется хохот черный
По орбитам весны от шин...

ПРОЗА

Виктор СТЕПАНОВ

РОТА ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА

ПОВЕСТЬ

II

В казарме ты все равно как на рентгене. Глаза друзей просвечивают насквозь. Линьков шмыгнул носом хитровато·

— Послушай, Звягин, ты никак в спортлото выиграл?

И сам себя Андрей чуть не выдал с ног до головы. Однажды на вечерней прогулке он, не обладавший особым музыкальным слухом, без команды, опередив запевалу, вдруг затянул: «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Рота, растерявшись на минуту от такой инициативы, нестройно подхватила, и, когда, выдохнув припев, снова прислушалась, лейтенант Гориков неожиданно подбодрил новоявленного запевалу:

— Продолжайте, Звягин!

Андрей осмелел, взял увереннее, тоном пониже, и эхом ударилось о забор, заметалось в такт вечерним усталым шагам: «Солдат вернется, ты только жди...».

Откуда роте было знать, что Андрей пел о Насте и что, заглядывая в уютные огни «гражданских» окон, сиявших над забором, он мыслями был уже в увольнении, рядом с ней.

...Они встретились возле метро «Университет» без двух минут одиннадцать. Андрей выскочил в стеклянные двери и сразу увидел Настю: ожидая его, она стояла напротив дверей в синем брючном костюме — похожая и непохожая, совсем другая, чем тогда в парке. Что-то незнакомое появилось в ней, и в то же время она стала словно бы проще, доступнее. Андрей уловил почему — Настя не держала в руке ватманского листа с фотографией солдата, и они как будто освободились от кого-то лишнего, мешавшего им нормально разговаривать. Почему тогда он так обрадовался, что с ней нет фотографии?

«Она, наверное, забыла»,— подумал Андрей, и очень хорошо, что забыла, потому что и он тоже совсем забыл, ничего не успел узнать. Да и что он мог поделать?

— Вы первый раз на Ленинских горах? — просто спросила Настя.

— Я в Москве-то, можно сказать, впервые,— признался, смутясь, Андрей.

Они молча пошли вдоль прямого, похожего на огромную аллею проспекта — на тротуаре лежал опавший яблоневый цвет, его, наверное, не успевали подметать дворники. Цвет был густой, пушистый и такой свежий и белый, что от него, казалось, веяло острым холодком первого снега. «Как хорошо тут! — думал Андрей.— Лишь бы она не спросила...»

— Мы идем на мое любимое место,— проговорила Настя.— Вы лес любите?

Он не понял, почему она спросила именно о лесе. Может быть, потому, что

Рисунки В. СКРЫЛЕВА.

Окончание. Начало см. в № 5 за 1976 год.

в это время они проходили мимо молодых, с зеленоватыми стволами, уже подстриженных тополей, сладко пахнувших первой листвой. У тротуара стояла шеренга голубых елей, таких нарядно-торжественных, словно они сами только что притопали сюда из-под Кремлевской стены.

— Вот мы и пришли,— сказала наконец Настя.

Прямо перед Андреем из темно-зеленого, островерхого хоровода елей устремилось к небу, ввинчиваясь в синеву шпилем, знакомое и непривычно близко увиденное здание. Квадратики бесчисленных окон, уменьшаясь, убегали вверх, как точки на светящейся рекламе.

— Узнаёте? — загадочно спросила Настя.

— Университет!

— А вот и не угадали,— засмеялась она.— Это же настоящий орга́н! Правда? Вот те колонны, карнизы, как трубы... разных регистров. А музыку слышите? — Настя приложила палец к губам, помолчала и, не выдержав, рассмеялась. — Вот вам моя тайна. Правда, интересно? Только отсюда, с этого места, можно увидеть университет вот таким...

По аллее из незнакомых, южных, похожих на кипарисы деревьев они вышли к гранитному парапету, возле которого толпилось множество людей, наверное, приехавших сюда на автобусах, что с распахнутыми дверцами поджидали рядом.

— Смотрите,— проговорила Настя, отступив, пропуская его вперед, как бы на лучшее место.

Внизу, за сбегающими с крутого обрыва липами, макушки которых густо обволокло зеленым дымом листвы, голубела, чешуйчато поблескивала в привольном изгибе Москва-река. Она была здесь широкой, берега перехватил легкий, воздушный полумесяц моста.

Деревья ветвились свободно, не по-городскому, многие из них были уже старыми, но даже самые высокие покачивали вершинами далеко-далеко внизу. От деревьев, от реки Андрей перевел взгляд дальше, и ему почудилось, что он слышит музыку. Как в огромной чаше, окаймленной лентой реки, тысячами, а может быть, миллионами окон сверкал на закатном солнце город. Как будто звездное небо упало и вдребезги разбилось о дома. И Андрей с Настей стояли не на смотровой площадке, а на крыле гигантского самолета, что упруго парил над великим городом.

— Над Москвой великой, златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной,— распевно прозвучал сзади Настин голос.— Видите, вон там, почти на горизонте, малиновый наперсток? Это Иван Великий.

В сизой дымке Андрей едва различил маковку колокольни.

— А это правда, будто фашисты хотели затопить Москву?— спросила Настя.

Андрей ничего об этом не знал, и сам вопрос показался ему нелепым: как это можно — затопить такой огромный город? Это же целое море воды надо... И зачем?

— Представляете? — не дождавшись ответа, зябко передернула плечами Настя.— Только бы маковка торчала... Жуть... И весь Кремль под водой...

— А я там присягу принимал...

— Где там? — не поняла Настя.

— Возле Вечного огня...

Настя резко повернулась, в глазах восхищенно зароились знакомые золотые веснушки.

— В самом деле? У могилы Неизвестного солдата? Ваша рота? Вы стояли там на посту?

— Два раза,— почему-то соврал Андрей.— У нас по очереди...

— Как здорово! — прошептала Настя восторженно.— Вы даже не представляете, как это здорово...

«Сейчас спросит...— смутился Андрей.— О том солдате, а мне совершенно нечего сказать».

— Поехали! — вдруг сказала Настя, схватив его за руку.— Поехали немедленно, тут недалеко. Вы очень нужны одному человеку...

Андрей ничего не понимал. Кому, для чего он понадобился? На гранитном, пригретом солнцем парапете снова встал между ними кто-то третий, и Андрей увидел размытое, словно за мокрым, перевитым струями дождя окном, лицо солдата, чью фотографию держала тогда у груди Настя.

Они вышли из троллейбуса на Мосфильмовской, и Настя повела Андрея по тропе, напрямик через палисадник, заросший акацией, через детскую площадку с разноцветными скворечнями домиков. Минут через пять они очутились возле одноэтажного, длинного, как барак, дома.

Настя уверенно нажала на кнопку звонка и, не услышав ответа, достала из сумки ключ, открыла дверь.

— Вот моя деревня, вот мой дом родной,— весело продекламировала она, пропуская Андрея вперед, и он сразу же споткнулся о приступок — в коридоре, пахнущем свежевымытыми полами, было сумрачно.

«Коммуналка»,— сразу определил Андрей, проходя мимо кухни: вдоль стены теснились три стола, накрытые клеенками и газетами. И чистота в коридоре была коммунальная, подчеркнуто оберегаемая и поддерживаемая, возле каждой двери пестрели разнокалиберные тапочки.

Настя бегло на них взглянула и по ей только известным признакам определила, что тот, к кому они пришли, должен вот-вот вернуться.

— Подождем, не под дождем! — улыбнулась она извинительно и, пригласив Андрея на кухню, смахнула тряпкой с табурета, усадила возле стола, накрытого новой, еще незапятнанной клеенкой с желтыми ромашками.

«Это ее стол»,— догадался Андрей, хотя Насте была бы вроде ни к чему старая, отбитая по краям пластмассовая пепельница в виде охотничьей собаки, устало положившей морду на передние лапы.

Настя поставила на плиту чайник, достала чашки с блюдцами. Голубые подвинула — одну Андрею, другую себе, а третью, с еле поблескивающим золотым ободком, старенькую, оставила на середине стола, наверное, для того, кого они ожидали с минуты на минуту.

— Это ведь его сын,— проговорила Настя безо всякой связи.— Помните? На той фотографии... Он-то меня и послал в парк. Сам уже еле ходит... Неси, сказал, покажи.. Может, кто признает...

— А он вам... кто? — спросил Андрей.

Настя ответила не сразу.

Налила в две чашки чай, села рядом и сказала не очень охотно:

— Длинная история. У меня родители в вечных командировках. Что мать, что отец. У отца любимая поговорка: «Не жизнь, а день приезда, день отъезда». А он... Просто сосед. А теперь вроде за деда...

«Странно,— подумал Андрей.— Совсем одна. Дед, фотография... А при чем тут Настя? И при чем я?» И он опять со жгучим стыдом вспомнил о невыполненном обещании.

— Понимаете, какое дело... Он почти уверен, что его сын лежит в могиле Неизвестного солдата...

СА
СА

Погиб где-то недалеко от Крюкова... Или в Красной поляне... В общем, неизвестно где, но там... И вот Кузьмич внушил себе, что именно его сын под Вечным огнем... Больше двадцати лет искал могилу. И ничего, ни следа. Многие считают его чудаком, смеются. А мне его жаль. Ну, кто, скажите, кто докажет, что под Вечным огнем не его сын? Каждое утро Девятого мая я вожу его туда... Раньше ходил сам... Каждый день...

Хлопнула дверь, в прихожей раздались шаги. Андрей обернулся.

Прислонясь к дверному косяку, щурясь от встречного света, на них смотрел, поблескивая очками, щуплый, небольшого роста старик в поношенном, с коротковатыми рукавами пиджаке. Зеленая байковая рубашка опрятно застегнута на верхнюю пуговичку. Он уже успел переобуться и стоял в растоптанных суконных тапочках, слегка косолапо отставив ногу. Старик долго приглядывался — с улицы слепило, наверное, как ранней весной.

— Здравствуйте, молодой человек,— с доброй усмешкой проговорил наконец старик, и Андрей с неловкостью ощутил на себе любопытно-придирчивый, изучающий его взгляд.

— Это тот самый Андрей,— привстала Настя,— а это Кузьмич,— повернулась она к Андрею, и в ее голосе послышалось желание, чтобы они сразу же подружились, понравились друг другу. Настя торопливо налила чаю старику.

Пригладив редеющие волосы, старик неторопливо присел рядом, взял чашку, подержал в ладонях, как бы согреваясь.

Очки блеснули совсем близко, и Андрей увидел в упор глянувшие на него из глубокой, родниковой прозрачности стекол увеличенные, расширенные, по-детски голубоватые глаза.

Старик как будто смотрел на него со дна чистой реки.

— Так, значит, в роте служите, в этой самой?

— В роте почетного караула,— с удовольствием подтвердил Андрей. Но ему чем-то уже не нравился этот старик, вкрадчивым взглядом рассматривающий каждую пуговицу, каждую складку на его мундире.

— Он, оказывается, стоял у Вечного огня! — с гордостью за Андрея, за нового своего знакомого сказала Настя.

— Как? У самой могилы Неизвестного солдата? — не поверил старик, и голубоватые глаза его под стеклами очков расширились еще больше.

Он опять тем же цепким, но теперь обрадованным взглядом пробежал по Андрею — от погон до сапог,— улыбнулся, нахмурился, снова улыбнулся и обмяк.

— Ах, ты, раскудря моя рябина... Да что ж вы раньше-то молчали?

Перелил чай из чашки в блюдечко, подержал немного, остужая, и вылил обратно в чашку — не давали ему руки покоя, не знал он, куда их девать.

— Значит, в роте почетного караула...— как бы с новым удивлением пробормотал Кузьмич.— Видел я, видел, как стоите... Ладно, красиво. И форма опять же...

Он хотел что-то добавить, но, наверно, не нашел слова, только крякнул, махнул рукой и взглянул на Андрея с еще большим уважением и интересом.

— Сколько ж смена?

— Час,— небрежно ответил Андрей.

— И в жару и в холод?

— И в жару и в холод. В зависимости от метеоусловий могут быть изменения...

— Так-так.— Старик отхлебнул чаю, закашлялся. И было заметно — о чем-то другом, очень важном хотел он спросить Андрея, но почему-то не решался.

Настя смотрела на них обоих с ожиданием.

— Вот что мне скажи,— проговорил старик осторожно и, очевидно, для доверительности перейдя на «ты».— Как там у вас, в роте, полагают... Кто в могиле-то?

Из-под сведенных, как от боли, бровей, в каком-то мучительно неразрешимом вопросе на Андрея опять глянули, как будто со дна реки, глаза. Он смутился, заворочался на стуле.

Но старик не дал ответить.

— Я, конечно, понимаю,— тихо, сожалеюще произнес он.— Как не понимать... Неизвестный солдат— это, так сказать, памятник всем погибшим — известным и неизвестным.— («И Матюшин то же говорил!»).— И огонь зажгли, чтоб наши души греть... Ну, а все-таки... Ведь там...— И старик отодвинул чашку, сдавил пальцами ворсистые, небритые щеки и снова пронзил Андрея тем же немигающим взглядом.— Там ведь не вообще солдат лежит, а конкретный... И имя у него есть и фамилия...

И тут стало слышно, как тикает будильник на подоконнике.

— А я вот все думаю,— убежденно, словно боясь, что ему не поверят, проговорил Кузьмич,— я думаю, уж не мой ли Колюшка там лежит... А, солдат?

Андрей растерянно молчал. «Что сказать? Неужели этот старик...»

— Там Неизвестный,— пробормотал Андрей.— Неизвестно... Понимаете, неизвестно кто...

Глаза Кузьмича подернулись холодноватым отчуждением.

— Как это неизвестно? — незнакомо скрипучим голосом отозвался он.— Это вам неизвестно... А нам известно все!

— Я не знаю... Что я? — пожал плечами Андрей, поворотясь к Насте и ища у нее сочувствия.

— И напрасно не знаете! Надо бы знать! — раздраженно подхватил Кузьмич.— Надо бы знать, товарищ рядовой роты почетного караула, по какому случаю и возле кого стоите на часах! А вы, небось, красуетесь, любуетесь собой, своими этими, как их... аксельбантами...

— Кузьмич! — с укором перебила Настя.

— Я семьдесят лет Кузьмич,— тотчас сердито отозвался он. И, уже не скрывая неприязни, с усмешкой кивнул в сторону Андрея: — И этот... гусар обещал помочь?

Андрей залился краской.

Чувство стыда, обиды, злости переполнило его. Андрей словно бы потерял дар речи, а когда обрел способность говорить, не нашел подходящих слов.

— Как вы смеете? — запинаясь, выкрикнул он.— И вообще... Еще неизвестно, где ваш... Он же без вести...

Брошенные в горячке эти последние фразы уже было не вернуть, хотя Андрей тут же пожалел о сказанном.

Настя стояла бледная.

Она в растерянности переводила взгляд с одного на другого.

— Вот так, спасибо, объяснили, дети мои...— нервно засмеялся старик и, схватившись за грудь, закашлявшись так, что на землистом лбу его проступили синие жилы, вышел из кухни.

— Ну зачем вы? — рассерженно прошептала Настя.— Сейчас опять вызывать неотложку... А он так хотел вас видеть...

Андрей извинился, надвинул фуражку и, не попрощавшись, выскользнул в дверь.

12

Рота готовилась к встрече нового именитого гостя. Глядя на мокрые листья клена, прилипшие к асфальту оранжевыми кляксами, Андрей с тоской вспоминал солнечный, удивительно прозрачной голубизны майский день, когда в парке культуры встретил Настю.

Накануне очередного увольнения в город, не дождавшись, когда офицеры отправятся домой, он вошел в кабинет командира роты и попросил разрешения позвонить.

— Кому? — настороженно спросил майор.

— Девушке,— смело признался Андрей.

Командир на секунду смешался, удивленно пожал плечами и подвинул ближе к Андрею аппарат.

— Только не бросай трубку, не бросай! Я очень хочу тебя видеть! Мне нужно сказать тебе очень важное, очень! — быстро проговорил Андрей.

Трубка молчала.

— Я тут не один, звоню от командира,— приглушенно пояснил он.

— Хорошо,— ответила Настя.— На Ленинских горах... В четыре часа...

Андрей чуть не сбил с ног дневального.

...Он ее не узнал. В голубом пальто с белым пушистым воротничком — какой-то счастливый зверек уютно прикорнул у нее на плечах! — стройная девушка стояла к нему спиной. Девушка обернулась и оказалась Настей.

«Она простила меня»,— обрадовался Андрей, видя, как за слабым налетом отчужденности уже просвечивают, оживают в глазах золотинки веснушек.

— Куда пойдем? — спросил он, как ни в чем не бывало, и взял ее под руку, стараясь казаться непринужденнее.

К его удивлению, Настя не отстранилась.

— Ко мне,— пряча улыбку, сказала она.

— Опять к старику?

— Кузьмич уехал в деревню...— И, встряхнув головой, Настя повторила, повеселев: — Поехали, поехали!

В квартире действительно никого не было, знакомо пахнущие сырой свежестью полы глянцево белели в сумрачности прихожей. Андрей скинул сапоги, остался в носках.

— Вот Кузьмичевы,— бросила Настя стоптанные шлепанцы.

— Они мне только на мизинец,— отшутился Андрей, не пожелав их надеть.

Настя осталась в коротком платьице, со всеми подробностями очертившем фигуру. Сунула ноги в зеленые остроносые тапочки и сразу стала такой домашней и притягательно нежной, что Андрей едва удержался, чтобы не обнять ее, когда она, освобождая вешалку, коснулась его плечом.

— Будь, как дома, но не забывай, что в гостях...— засмеялась Настя

Андрей освоился окончательно — отцепил галстук и, закатав на рубашке рукава, полез за сигаретами. вдруг сильно захотелось курить.

— На кухню, на кухню!— погрозила Настя пальчиком и наклонилась к холодильнику, переставляя в нем какие-то банки.— Будем готовить обед!

Она держала в руках пакет с картошкой и стояла вся раскрасневшаяся, вроде бы даже чего-то застеснявшись. Андрей тоже смутился.

— Я не хочу, Настя, честное слово,— зардевшись, проговорил он.— Только что в роте пообедали...

— В роте одно, а дома другое,— возразила Настя. Она ловким движением откинула волосы, и Андрея колюче, с чуть уловимым запахом не то черемухи, не то сирени задело по щеке — Настино лицо было на расстоянии дыхания.

На какое-то мгновение что-то жаркое, пылающее, как от костра, соединило их лица. Настя качнулась смутным пятном, отпрянула, словно испугавшись, дрогнувшим голосом проговорила:

— Иди-ка сюда, я тебе что-то покажу...

Под вешалкой она опустилась на колени, выдвинула фанерный ящик и извлекла оттуда пожелтевший газетный сверток. Из свертка показалась тетрадь в темном коленкоровом переплете.

— Вот, читай! — вскинув голову, отбросила прядь волос Настя.— Это Кузьмичево...

— А что тут? — спросил Андрей.

— Садись на кухне и читай,— повторила Настя тоном, каким приказывают детям.— А я буду готовить. Я быстренько...

Андрей машинально раскрыл тетрадь, думая совсем о другом, о том, что сейчас, именно сейчас он обнимет ее. Только сейчас или никогда.

«Начато 1 января 1941 года Окончено...» За словом «окончено» стояло многоточие.

«Что еще там накатал старик? Вот писатель!» Андрей согнул тетрадь вдвое, вышел и сунул ее в боковой карман шинели.

— Знаешь что,— сказал он, снова протиснувшись в кухню и подходя к Насте,— я потом прочту, в роте, с чувством, с расстановкой...

— Ни в коем случае! — испуганно перебила Настя.— Только здесь... Это же Кузьмичева... его, ну, как тебе сказать...

Андрей подошел к Насте так близко, что она сразу вроде бы онемела и стояла теперь, прислонясь к стене, удивительно беззащитная, доступная.

Кровь ударила Андрею в голову.

«Смелее, смелее!» — приказал он себе и чужими, неподчиняющимися руками обнял Настю за плечи, прижался к ней и уже было потянулся губами к приоткрытому, такому близкому, незащищенному рту, как тут же отшатнулся, увидев перед собой ставшие вдруг некрасивыми, широко раскрытые, изумленные глаза. Задыхающийся от возмущения, неузнаваемо резкий голос пронзил тишину:

— Ты что? Отпусти, слышишь? Так вот ты какой... Гуса-а-р-р!

Андрей отступил, попятился. Настя тут же, перед самым носом, захлопнула дверь, еще что-то крикнула, и стало так тихо, как будто за минуту вымер весь дом

Торопливо, дрожащими руками надвинул Андрей фуражку, схватил шинель и вышел.

«Заколдованный какой-то дом»,— зло усмехаясь, подумал он и решительно зашагал к троллейбусу.

13

Лишь в казарме Андрей обнаружил в кармане шинели злосчастную тетрадь. Хотел тут же вернуться, но, вспомнив гневное, с изломанными бровями Настино лицо, решил, что перешлет тетрадь бандеролью

— А ты раненько сегодня! — обрадовался скучающий Патешонков.

— Отстань! — в сердцах отрезал Андрей и пошел в курилку.

Прижигая одну от другой, он выкурил подряд две «Примы». Тетрадь мешала в кармане, и он вынул ее Она была такой старой, потертой, как будто ее все

время носили с собой. Листы по краям разлохматились, наверное, выскакивали, и в одном месте кто-то прихватил их черной ниткой. «Ну, и что же тут интересного?» — подумал Андрей, небрежно открывая первую страницу.

Сверху крупно, лиловыми, удивительно четко сохранившимися чернилами было выведено: «1 января 1941 года» — и подчеркнуто волнистой линией.

«...Все новое, даже снег... Интересно, каким будет этот год? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь — шесть месяцев! А там — прощай школа и да здравствует новая жизнь! Нет, он будет прекрасным — год, который так счастливо начался.

Пять минут первого мы с Юркой выбежали на улицу и решили позвонить Ей. Мы решили спросить, кто же все-таки — он или я? Юрка, мой друг, чудесный парень. И ему Она нравится тоже. Но как поделить дружбу и любовь? Юрка сказал: «Давай позвоним!» Как у него все просто — кого выберет! А если не меня? Мы спустились вниз, и в последнюю минуту я струсил, сказал, что звонить не буду. Тогда трубку снял Юрка и попросил к телефону Ее. «Я и Николай, мы любим тебя! — прямо сказал он.— Но ты не можешь любить двоих — выбирай: он или я». Голос в мембране засмеялся, а Юрка сник. «Ты»,— сказал он и бросил трубку. «Почему я?» — «Я уверен,— сказал он,— иначе она назвала бы меня». Как я теперь пойду в школу? Как посмотрю ей в глаза?»

«Изобретательные парни»,— одобрил Андрей.

Следующая запись от 10 января не остановила его внимания: какие-то заумные, философские рассуждения о смысле жизни, о прочитанной книге. А что же с Ней? Ага, вот!

«18 января. Учился с Ней танцевать фокстрот. В школе открыли кружок танцев. Она пришла, как на бал,— в голубом платье с белой хризантемой у ворота. У меня левая рука онемела, а правой до талии боялся дотронуться...»

«Ну, уже это он перегибает,— усмехнулся Андрей.— Тоже мне, скромник...»

«А тут, как на грех, кончились патефонные иголки. Все затулились, а я все точил и точил их о батарею, и подряд заводил одну и ту же пластинку. «Да хватит вам «Рио-Риту» крутить!» — возмутились остальные. А она до сих пор в ушах: «Та-ра, ра-ра, ра-ра!» И кастаньеты».

«1 февраля. В третий раз смотрели с Ней «Веселых ребят». «Как много девушек хороших, как много ласковых имен...» Луч киноаппарата чиркнул ей по макушке, а мне показалось — золотом вспыхнули волосы. «Ты что, с Орловой сравниваешь?» — спросила Она. Чудачка, ты в тысячу раз лучше!»

Дальше строчки были смазаны, размыты, вся страница в лиловых разводах — ничего не разобрать. Две страницы склеились, Андрей осторожно отогнул одну.

«...Сегодня Пал Иваныч сказал: «Ну-ка, выкладывайте свои планы и мечты». Все опустили глаза, как будто он собирался вызывать к доске.

Первым Пал Иваныч спросил Юрку. Тот встал, хлопнул крышкой парты: «Я — в летное. Летчиком буду!» И все на него посмотрели с восхищением, словно Юрка уже слетал через Северный полюс. Но самое ужасное — Она до конца урока не сводила с него глаз.

«Ну, а ты, Сорокин?» — спросил меня Пал Иваныч. Зачем он спросил, он же знает! И тут кто-то с «камчатки» насмешливо хихикнул: «Лесником!» И Она почему-то покраснела».

«20 февраля. Опять Юрка. Его теперь все зовут Юрка-Чкалов. На вечере мы стояли с Ней, и тут заиграли «Рио-Риту». Я только хотел ее пригласить, вдруг подходит Юрка, кивнул, и Она подала ему руку — на какую-то секунду я опоздал. Говорят, Юрка уже прошел медицинскую комиссию и оказался годным к летной службе».

«10 марта. Всем классом ездили за город на лыжах. Сошли с поезда — и куда глаза глядят. Снег хрупкий, рассыпчатый. Последний лыжный снег. Шли, шли, а конца тропы все нет. Заблудились. И тут я узнал то место, где весной еще, кажется, в шестом классе, помогали высаживать сеянцы сосны. Они тогда были сантиметров по восемь, не больше,— пушистые зеленые цыплята. А теперь, на третий год, не узнать: из почек верхнего побега вырос еще побег, который стал стволом, и еще мутовка веток. Верхушечный побег за весну отрастает на 20—50 сантиметров! Здравствуйте, малышки, как вы подросли! Я сказал ребятам, что рядом Красная поляна. Все так и ахнули: «Ну, и лесник!» А Она и говорит: «Давайте декламировать про лес, кто что знает!» Все знали только одно: «Плакала Саша, как лес вырубали...» А я прочел свое любимое из Тургенева: «Внутренность рощи, влажной от дождя...»

Я прочитал наизусть весь отрывок, до «и украдкой лукаво начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь»... и все как будто языки проглотили. Так молча мы и вышли на дорогу».

Андрей закурил, отлистал несколько было пропущенных страничек обратно.

«...Я пойду в лесотехнический! Все удивляются, все грезят небесами и морями, а я, по их мнению,— в тишь и гладь, сидеть под березами и слушать птичек. Спрашивают, удивляются, откуда, мол, это у меня. А я и сам не знаю. Только стоит перед глазами, вернее, лежит спиленная береза. И кто-то говорит отцу: «Вот, Кузьмич, спилили, а взять не взяли, даже на дрова не понравилась. Ну, не изверги?» А отец мне: «Смотри, Коля, ветки, как руки, раскинуты по земле. И завянуть еще не успели, видишь, пьют росу и не знают, что уже умерли, что отрублены от корня». Мы стоим, а по вершине березы, по самым мелким и нежным веткам, которые еще вчера доставали до неба и купались в синеве, недоступные грубым рукам, по этой вершине проезжают грязные колеса автомобиля. А отец опять вздыхает: «Если каждый человек убьет по дереву, по одному только дереву...»

«14 апреля. Это непостижимо! Еще вчера мы ходили в кино и потом долго гуляли по набережной. А сегодня... Я никогда не видел Ее такой спокойной и никогда не слышал такого ледяного голоса: «Повтори то, что ты три дня назад сказал Юрию». О чем? Я сначала не понял. «Повтори, что ты сказал Юрию насчет тетки!» Ах, да! Я же сказал ему просто так, чтоб он отлип, что мы ночевали с Ней у Ее тетки. От дурного предчувствия у меня подкосились ноги, я завилял: «А что? Ничего такого...» «Это же подлость,— сказала Она.— Даже если ты только подумал об этом!» И ушла. Я бросился за ней и начал объясняться, что это я просто так, чтобы больше не приставал Юрий, только из-за этого. Но Она как заледенела. «Все,— сказала Она.— Больше не звони и не приходи!»

«Настя,— с удивлением подумал Андрей.— Вылитая Настя. Она ведь тоже...»

«1 мая. Я позвонил Ей. «Скажи, что я должен сделать! Не веришь? Неужели ты думаешь, что я такой?» Она бросила трубку».

Опять в тетради было что-то перечеркнуто, замазано чернилами. Потом наискось одно и то же слово: «Экзамены. Экзамены». И без числа:

«...Грибов много, ранние — все говорят, к войне. Мы набрали летних опят, отец их называет «говорушками». Где-то возле Красной поляны разложили скатерть-самобранку, перекусывали, сидели под березой. Вдруг над нами — странный звук, точно кто провел смычком по струнам. Что за чудеса — ни зверь, ни птица... Встали, присмотрелись. А это береза и дуб, словно из одного корня выросли. Береза помоложе, протиснулась меж дубовых ветвей, а когда в толщину раздаваться стала, прислонилась, прижалась к могучему стволу, и дуб вроде бы ее обнял. Ветер дунет, качнет ветвями, и возникает этот звук. Нежный, будто скрипка поет... Мы с отцом так и назвали эту пару — «поющие деревья» и решили, будем их проведывать, пока по грибы ездим».

«22 июня. Война! Все рухнуло, все-все. В один час. Мы, не сговариваясь, пришли в школу по привычке. Учителя все должны знать. Ее почему-то не было. Кто-то спросил: «Пал Иваныч, а если до сентября война не окончится, как же в институт? Как вы думаете, прогонят их до сентября?»

«Надо прогнать»,— сказал Пал Иваныч. А мы и не знали, что у него в кармане уже лежала повестка на фронт».

«28 июня. Отца не взяли. Дали бронь. Сказали: «Вы нужны тылу». А мы с Юркой уже пятый день с утра до вечера околачиваемся в военкомате. Какими ничтожными кажутся вчерашние ссоры и обиды! А нас все не берут. И чего медлят? Чем раньше уйдем на фронт, тем раньше вернемся. И до начала учебного года, как в песне,— разгромим, уничтожим врага!

Звонил Ей, никто не подходит к телефону».

«2 июля. Ну, вот и прощай, мой Дневник. Жалко маму — глаза не просыхают. Отец на полчаса заскочил — обнял: «Береги себя, на рожон не лезь, и нам и фронту ты живой нужен!» — и опять уехал на завод.

А у меня камень на душе — если б провожала Она! Хоть бы до поворота, до трамвайной остановки. Странно, там все еще стоит мороженщица в бело-белой, мирной, как тысячу лет назад, куртке.

Вчера я дозвонился. «Да-да, я слушаю»,— сказала Она. Я сказал, что ухожу на фронт и что люблю Ее еще сильнее и прошу прощения за все. «Ладно»,— сказала Она, но, по-моему, не простила».

На этом записи кончились. Дальше шли чистые, тронутые желтизной листы. Андрей перевернул несколько страничек, и на пол выпал конверт — необычный, треугольный.

Треугольник оказался старым письмом, написанным химическим карандашом. Некоторые строки можно было различить лишь по царапинам, оставленным на бумаге. Письмо, видно, много раз читали — складывали и развертывали — на сгибах бумага уже кое-где осыпалась. Почерк был все тот же.

«Дорогие мои! Извините, что долго не писал. Не было времени, жарко тут у нас, прут гады. Отец! Сегодня мы уже в тех местах, где наши «поющие деревья». Представляешь?

Ходят слухи, что немцы установили большие пушки, чтоб стрелять по Москве. Будто бы ее хотят разрушить и затопить. Но вы слухам не верьте! Стрелять по Москве прямой наводкой мы не дадим! Писать кончаю. Шофер торопит. Целую вас, мои дорогие, за меня не беспокойтесь. Ваш сын Николай. 4 декабря 1941 года».

«Поющие деревья... Поющие деревья,— задумался Андрей, отлистывая страницы.— Ну да, это же возле Красной поляны. Они же туда по грибы ездили! Где эта Красная поляна? Там его надо искать! Неужели не могли догадаться?»

И тут в самом конце тетради он увидел другой листок, отпечатанный на машинке. Этот листок был свежим, несмятым и незахватанным, наверное, его очень берегли, как берегут важный документ.

«На Ваше письмо сообщаю, что, по данным отдела учета персональных потерь солдат и сержантов Советской Армии за период Отечественной войны 1941—1945 гг., значится:

Красноармеец Сорокин Николай Иванович, 1922 года рождения, уроженец г. Москвы, призванный в июле 1941 года, пропал без вести в декабре 1941 года...

Основание: вх. № 59935 с-41 г.».

«Они не там искали,— огорчился Андрей.— Это же проще простого: узнать, какие части воевали возле Красной поляны...». Он вложил письмо и листок в тетрадь и только тут заметил на внутренней стороне обложки довольно свежую надпись, сделанную шариковой авторучкой, другим почерком.

«Она — Сазикова Люба, Рублевский пер. д. 5 кв. 4». Кто это — Она? Та, с хризантемой? И кто записал ее адрес?

14

Острый луч светился на полу, пересекая коридор. Это из неприкрытой двери командира роты. Значит, майор еще не ушел.

Стараясь не скрипеть кроватью, Андрей встал, натянул брюки, рубашку, нащупал ногами сапоги. В проходе все же задел за табурет.

— Вы напугаете мне роту, Звягин,— сонно прогудел дневальный.

Андрей приложил палец к губам и повернул направо, к двери кабинета, приоткрыл ее.

Склонившийся над тетрадями Турбанов повел плечами — наверное, потянуло в распахнутую форточку сквозняком,— поднял голову и непонимающе устремил на Андрея воспаленный от долгого чтения взгляд.

— Что случилось, Звягин? Посреди ночи, без стука...

— Извините, товарищ майор, я знаю... Но до утра не могу, не засну...

В глазах майора мелькнуло удивление.

— Так уж?.. Да в чем дело, наконец?

— У вас про операцию «Тайфун» ничего нет?

Майор откинулся на стул.

— А вам сочинений Фейербаха сейчас не требуется? Идите спать, Звягин. Завтра.

— Мне сейчас нужно, товарищ майор. Я видел, у вас есть... Мы тут уборку делали. Вон в том шкафу...

— Да вы что в самом деле, Звягин? — с раздражением перебил майор, но что-то в лице Андрея смутило его, он потянулся за сигаретой, мягче спросил: — Зачем вам?

— Мне только на полчасика, я в курилке почитаю и верну,— уклоняясь от ответа, уже смелее попросил Андрей.

Майор, окончательно сбитый с толку, подошел к шкафу, порылся в книгах.

— Берите, ровно на двадцать минут. А то еще всыплет нам с вами дежурный по роте за нарушение распорядка...

Схватив книгу, Андрей пошел было к выходу, но майор остановил:

— Ладно, сидите здесь.— Опять нахмурился.— Нельзя же в самом деле нарушать.— И уткнулся в конспекты.

Андрей присел на краешек стула и торопливо начал листать книгу, пробегая по строчкам, отыскивая единственное слово «Тайфун». «Тайфун», «Тайфун»... Вот:

«Девятнадцатого сентября операции было присвоено условное наименование «Тайфун». Сперва генерал Бок, которому Гитлер поручил штурмовать Москву, хотел назвать ее «Октябрьский праздник»...

«У Адольфа Гитлера были совершенно определенные планы, касавшиеся двух советских городов — Москвы и Ленинграда. Этим двум городам, которые являлись в глазах Гитлера воплощением всего большевистского, этим двум городам было уготовано нечто особенное. Они должны были быть казнены».

— Нашли, что искали? — теперь уже с участием спросил майор, краем глаза наблюдавший за Андреем.

— Нашел,— не отрываясь, ответил Андрей.

Запись в дневнике генерала Гальдера, 8 июля 1941 года:

«Фюрер исполнен решимости сровнять Москву и Ленинград с землей, чтобы там не оставалось людей, которых мы должны были бы кормить зимой. Оба города должны быть уничтожены авиацией. Танков на это не тратить. Это должна быть мировая катастрофа, которая лишит центров не только большевизм, но и московитизм». 16 июля 1941 года во время совещания у Гитлера, на котором обсуждалось, как делить «русский пирог», фюрер снова напомнил о том, что «Ленинград он хочет стереть с лица земли».

А Москва? Что Москва?

Совершенно секретное распоряжение № 44 1675/41 от 7 октября 1941 года, штаб оперативного руководства ОКВ:

«Фюрер вновь решил, что капитуляция Ленинграда, а позже Москвы не должна быть принята, даже если она будет предложена противником... ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Всякий, кто попытается оставить город и пройти через наши позиции, должен быть обстрелян и отогнан обратно. Небольшие незакрытые проходы, предоставляющие возможность для массового ухода населения во внутреннюю Россию, можно лишь приветствовать. И для других городов должно действовать правило, что до захвата их следует громить артиллерийским обстрелом и воздушными налетами, а население обращать в бегство...

Это указание фюрера должно быть доведено до сведения всех командиров».

Андрей покосился на майора, на пачку сигарет, заманчиво лежавшую на столе.

— Разрешите закурить, товарищ майор,— неуверенно попросил он.

— Курите,— тяжело вздохнув, совсем удрученный такой назойливостью, разрешил Турбанов.

Андрей жадно затянулся, перевернул следующую страницу. «Процедура уничтожения города была готова лишь вчерне: как полагал Гитлер, удобнее всего было Москву затопить, используя водохранилища канала Москва — Волга. С этой целью мастер диверсионных дел штурмбанфюрер СС Отто Скорцени получил специальную задачу: со своим отрядом выйти к шлюзам и захватить их».

9 октября 1941 года один из эсэсовских чинов записал в своем дневнике:

«Фюрер распорядился, чтобы ни один немецкий солдат не вступал в Москву. Город будет затоплен и стерт с лица земли...»

«Если учесть, что план затопления рассматривался уже осенью, и если бы все шло так, как намечалось в операции «Тайфун», то весной 1942 года остатки разрушенной и разграбленной Москвы скрылись бы под водой...»

«Так вот о чем спрашивала Настя!» — И Андрей совсем отчетливо, как тогда, со смотровой площадки на Ленинских горах, увидел сверкающий розовыми закатными огнями город, похожие на огромные соты дома, малиновый наперсток колокольни Ивана Великого... И это все скрылось бы под водой?

— Товарищ майор,— вкрадчиво, опасаясь рассердить командира роты, проговорил Андрей,— а это правда, что где-то в районе Красной поляны в декабре сорок первого года немцы установили тяжелую артиллерию для обстрела Москвы?

— Да, было...— кивнул майор, внимательно поглядев на книгу, которую раскрытой держал на коленях Андрей.— Для чего это вам: «Тайфун», Красная поляна... Политбеседу поручили?

— Нет, что вы! — смутился Андрей.— Понимаете, мой знакомый один, вернее, сын моего знакомого, отбивал эти пушки у немцев...

— Так пусть он и расскажет, как отбивал...

— А его уже нет, он без вести пропал,— дрогнувшим голосом произнес Андрей.— Вот вы, наверно, воевали... Объясните, пожалуйста, как это — без вести?

— Я не воевал,— покраснел майор и опустил глаза, как будто был виноват, что не воевал.— Мне шесть лет было, когда началась война...

— До Красной поляны сколько километров? — догадливо переменил тему Андрей.

— Кажется, двадцать семь,— неуверенно сказал майор.— Что-то около тридцати.

В репродукторе, приглушенном не до отказа, куранты отбили двенадцать ударов, и майор, взглянув на часы, устало потер глаза.

— Спать, Звягин, спать. И мне пора — а то на метро опоздаю. За книгой зайдете завтра. В личное время...

Майор встал. Прикрыв дверь, Андрей бесшумно начал пробираться между кроватями. Рота давно спала.

За окном, в его правом углу, роились золотистые звездочки. Это еще не спал, светился редкими окнами дом, который недавно справил новоселье. Это была Москва. Город Москва... Москва-река... Москва-море...

Что это? Только задремал... Боевая тревога! Андрей натренированно потянулся к брюкам, рука сама нашла ремень... И вот уже ходуном заходила казарма. «Боевая тревога! Боевая тревога!» Не открывая глаз, схватил карабин, столкнулся с кем-то у выхода, нырнул в дохнувшую холодом дверь. «Становись! Бегом, марш!» Куда они побежали? Это что? Ленинградское шоссе?

По багрово-красному снегу в Москву въезжали солдаты. Фашисты? Да, они, на танках, на мотоциклах, на грузовиках!

— Товарищи! — хочется крикнуть ему.— Как же так? Почему мы не стреляем, не бросаемся с гранатами под танки?

Но слова застревали в горле, и Андрей стоял молча, вобрав голову в плечи, стараясь не встречаться со взглядами, сверлившими из-под касок толпу. На мгновение в этой страшной толпе мелькнули бледные лица Турбанова, Горикова. Андрей опять безголосо крикнул, потерял их и увидел Настю Она была в том самом — синем брючном костюме, нарядная, красивая, и Андрей испугался до дрожи в коленях, что ее сейчас непременно заметят фашисты.

И едва он об этом подумал, как несколько здоровенных солдат, хохоча и повизгивая от восторга, кинулись к Насте, заломили ей за спину руки и на виду у всей толпы начали расстегивать пуговички, крохотные пуговички возле шеи. Настя! Да нет же, это не она... Но кто? В голубом платье с белой хризантемой?

Кто-то тронул Андрея за плечо, он оглянулся и увидел Кузьмича — необыкновенно спокойного и даже торжественного.

«Стоишь? — Насмешливо прищурились за огромными очками его глаза.— Тебе только красоваться в аксельбантах, а мой Николай — вот кто солдат, он им сейчас устроит...»

Андрей кинулся вниз по улице Горького — Красная площадь была мертвенно пуста. Вся Москва вдруг обезлюдела.

Мрачные стены улиц вздымались уродливыми скалистыми ущельями, глазницы выбитых окон смотрели мрачно и угрожающе — Андрей шел по Москве и не узнавал ни одной улицы, ни одного дома.

«Что же это я один? А где рота?» — спохватился Андрей.

Он очутился на набережной, и новая ужасная догадка приковала его к граниту. Вода вспучивалась, крутилась бурунами и, взбухая, медленно вползала по стенке набережной.

Чувствуя спиной холодный, все сметающий вал, задыхаясь, Андрей долго куда-то бежал, пока не понял, что стоит на смотровой площадке, на Ленинских горах.

От края и до края, куда только доставал взгляд, колыхалась, успокаиваясь, вода. Кое-где плавали бревна, доски и сорванные потоком крыши старых домов. Но они казались щепками в мутном и жутком своей необъятностью море.

Далеко-далеко в грязной дымке торчали из воды два последних, до боли знакомых силуэта — верхушка Останкинской телебашни и золотистый наперсток колокольни Ивана Великого — все, что осталось от Москвы.

Андрей прижался лбом к холодному граниту парапета, замирая от ужаса и боясь поднять глаза на мертвое море, катившее угрюмые волны над погребенной под ними Москвой...

— Рота, подъем!— услышал он голос яви и открыл глаза.

Сердце стучало, колотилось, все еще пребывая во власти сновидения.

Не различая резкой грани между сном и явью, Андрей вскочил с кровати, моментально облачился в мундир и, пока, толкаясь и разминая голоса, рота строилась к зарядке, юркнул в кабинет командира роты.

Начатая вчера книга лежала там же, где он ее оставил.

Андрей пролистал знакомые страницы. «Красная поляна», «Красная поляна». Она...

Он вернулся к своей тумбочке, открыл дверцу и пощупал сверху, над книгами.

Тетрадь неизвестного Николая Сорокина тоже была на своем месте.

15

Мало кто знает, что, кроме плаца, знакомого солдатским сапогам до каждой трещинки, до каждой выбоинки на асфальте, есть в распоряжении роты почетного караула, как и всякой боевой стрелковой роты, овеянное сизоватой дымкой пороха, не знающее тишины и птичьих голосов поле, которое зовется стрельбищем.

Взвод лейтенанта Горикова сдавал зачетные стрельбы. Принимая положение для стрельбы лежа, Андрей замешкался, засомневался, правильно ли делает, задумался на секунду-другую, а лейтенант сразу определил заминку:

— Отставить, Звягин! Повторить сначала. Инструкция дана не для того, чтобы ее обдумывать, а чтобы выполнять... В бою вас бы уже ухлопали...

«А сам-то воевал?» — усмехнулся Андрей.

Прижимаясь животом к земле, вдавливая автомат в плечо, он почувствовал, как в левой руке потеплело, нагрелось цевье, от напряжения засаднило прижатую к прикладу щеку. «Главное — локоть, локоть... Найди для него место — и попадешь»,— вспомнил он дружеские наставления Матюшина. «Ты як наседка над цыплаком кудыхтаешь...» — подколол Сарычев. На что сержант серьезно, необидчиво ответил: «Взаимозаменяемость, Сарычев, взаимозаменяемость».

Андрей ждал команды «Огонь!».

Впиваясь прищуренным глазом в мушку, как бы весь обратясь в зрение, Андрей смотрел в темнеющий, вздрагивающий былинками сухой травы конец поляны, где всего на пятнадцать секунд дважды должны были появиться две грудные фигуры. Словно оживший от легкого, но чуткого прикосновения, спусковой крючок ловил приказание пальца.

«Они лежали, может, на этом же месте, в такой же день...» — подумал Андрей, вдруг ощутив проникающую сквозь полу шинели сырую, леденящую стылость земли, захотелось подуть на пальцы; только сейчас он почувствовал, как по лицу, вышибая слезу, жгуче сечет снежная крупка. «Да, правильно. Когда ехали на стрельбище, Гориков говорил, что где-то здесь проходила линия фронта. На каком километре свернули с шоссе? На тридцать шестом?»

Мишени возникли неожиданно — как будто двое высунулись из траншеи по грудь,— и Андрею почудились, явно увиделись каски, хищно блеснувшие сталью над седой, клочковатой травой.

«Огонь! — послышалось сзади.— Огонь!»

Притиснувшись щекой к прикладу, пытаясь соединить в одно целое. слитное дрожащую прорезь прицела и мушку, Андрей надавил было на спусковой крючок, но тут же отвел палец — мишени исчезли. Снова пустынное, в морозной мертвенности поле стелилось перед ним, а там, где секунду назад темнели мишени, как бы выдавая залегших, готовящихся к новой атаке врагов, едва шевелились, трепетали былинки Андрей с ужасом понял, что прозевал.

Теперь оставалось ждать второго появления — через десять — двадцать секунд. Через восемь... шесть... пять.. четыре...

Как обрадовался он этим двум силуэтам, возникшим, воскресшим на кончике мушки! Он не услышал, не ощутил выстрела — жарко полыхнул, выдохнул ствол. в ноздри резко пахнуло сернистой гарью. Переводя мушку слева направо, он нажал на крючок еще и еще и, физически ощущая тугую, прочерченную пулями тетиву траектории, услышал звонкое шлепанье отстрелянных гильз, затих, прижался к горя-

чему прикладу щекой, обмяк, увидев, как не спрятались, а упали, сраженные его, Андреевым, огнем, два силуэта...

— Молодец, Звягин,— сказал Гориков.— Так стрелять. А почему первый раз прозевали?

— Экономил патроны, товарищ лейтенант,— тут же нашелся Андрей, и Гориков отозвался сдержанной усмешкой.

— За отличную стрельбу — двухчасовое увольнение в город...

— Ну, и везучий же ты, Звягин,— завистливо вздохнул Патешонков.

Только очутившись за воротами КПП, Андрей спохватился: «Два часа — ни к селу ни к городу. Неужели Гориков знает, что за это время я могу сделать лишь одно-единственное?»

Троллейбус помчал его к Мосфильмовской.

Ему показалось, что он забыл дорогу. Нет, палисадник с пикообразным штакетником и когда-то ярко раскрашенные, а теперь обшарпанные, вылинявшие под дождями скворечники детсадовских домиков на игровой площадке были те же. Вот за этим пятиэтажным с намалёванным номером на стене домом должен стоять их, одноэтажный, похожий на барак «особняк», как пошутила в тот раз Настя.

Андрей завернул за пятиэтажный дом и остановился пораженный — холодным светом пустоши ударило в глаза, Настиного дома не было...

Груда старых бревен с приставшими к ним грязными кусками штукатурки лежала на прикопченном, тоже сваленном в кучу кирпиче. Обрывки бумажных обоев грустными разноцветными флажками трепетали на полусгнивших досках. Над этим истоптанным, искореженным бульдозером хламом, как над брошенным, остывающим костром, еще витало тепло человеческого жилья. Андрею показалось, что из-под бревен высовывается оборванный уголок клеенки со знакомыми желтыми ромашками.

«Как же так! — спохватился он.— Их снесли. Когда? Я не знаю ни адреса, ни фамилий».

Только тропинка к порогу еще жила. Кто-то ходил сюда, рубчатые следы — не то галош, не то туфель — петляли вокруг развалин, примяли утренний снежок возле скребка, о который когда-то счищали с подошв грязь.

И с ощущением невозвратимости, навсегдашней потери вспомнил он уютную кухоньку с шепеляво ворчавшим на плите чайником, Настю, такую милую и трогательно-доверчивую со всеми ее вопросами и хлопотами вокруг стола, и даже Кузьмич представлялся отсюда, с порога развалин, совсем не сердитым, а простодушным, наивным, чудны́м стариканом.

«Я обидел их ни за что,— с досадой подумал Андрей.— Я найду их обязательно. В следующий выходной».

Он ощупал в боковом кармане тетрадь, которую напрасно сюда принес, и вдруг вспомнил об адресе, мельком замеченном на обложке.

«Рублевский переулок... Сазикова Люба... Да, это Она, та самая, с хризантемой...» Он думал об этом, думал, но только сейчас, при виде развалин старого дома, схватился, как за спасительную ариаднину нить,— за догадку: ведь Та, Она, о которой солдат писал в дневнике, могла быть жива, могла знать то, чего не знали ни Кузьмич, ни Настя. Может быть, с фронта от того парня она получила самое последнее письмо, с самым последним адресом!

«Но они же рассорились перед самым уходом Николая на фронт. Она живет, даже не подозревая, что произошло, и не знает, что его давно нет в живых...— сам себе возразил Андрей.— В самом деле, она не могла читать дневника».

Словно притянутый невидимым магнитом, он шел обратно, наискосок, через детскую площадку — где-то рядом, совсем рядом, он видел, проходя мимо, и взглядом зафиксировал, отпечатал в памяти: «Рублевский переулок...»

Поразительно... То, что казалось далеким и недосягаемым, как на другой планете, мир, в котором жил незнакомый парень, его любовь, тот новый, сорок первый год, Она в голубом платье с белой хризантемой у ворота,— все это вдруг очутилось рядом, через квартал, во дворе мрачного кирпичного дома с одичавшими, продрогшими тополями, с хлопающим на веревках бельем, которое устало развешивала пожилая, сухощавая женщина в коротких, стоптанных сапожках, надетых на босу ногу.

Во дворе сквозил ветер, сухая, жесткая поземка завивалась на асфальте, сугробами приметаясь к тротуару.

Андрей подошел к ближнему подъезду и спросил мальчишку, который гонял самодельной клюшкой синий кружок от детской пирамиды, не знает ли тот, где живут Сазиковы.

— А вон тетя Люба, белье вешает!—показал клюшкой мальчишка, ни на минуту не прерывая своего занятия.

«Неужели это она?» — поразился Андрей.

Женщина была в каких-то десяти—пятнадцати шагах и, увлеченная своим занятием, наверное, их не услышала. «Я подожду,— решил он, стараясь успокоиться.— Сейчас она закончит, и подойду». И, к недоумению мальчишки, вместо того, чтобы направиться к тете Любе, сел на лавочку.

Женщина наклонилась над тазом, что-то взяла, выпрямилась, набросила на веревку черное платье в горошек, бережно расправила беленький воротничок, разгладила его и отвела рукой со лба выпавшую из-под платка прядь, белую, со следами краски на кончиках волос.

«Седая. Сколько же ей лет? И это Она? Не может быть! — удивлялся Андрей.— В голубом платье, с белой хризантемой...»

Ее лицо было видно ему только с одной стороны, и смутный, едва различимый профиль, мелькнувший на фоне кофточки в мелкую клетку, показался красивым, утонченным, но только на мгновение — женщина повернулась, и Андрей заметил, как дрябло колыхнулась кожа под ее подбородком.

На веревке рядом с коричневыми чулками «в резиночку» болтались белые, ручной вязки шерстяные носки, хлопали на ветру полы байкового халатика, ближе к стойке облачком клубился белый платочек.

«Вещи-то, видно, все ее. Неужели никого нет? Одна? Совсем одна?» — с горечью, с прихлынувшей жалостью к этой женщине подумал Андрей. И ему вдруг показалось неуместным, нетактичным подходить и спрашивать — о чем угодно. И тут же другая догадка поразила его, он подумал о том, о чем никогда не думал.

«А ведь и Николай был бы сейчас таким же старым? Не может быть! И почему это никогда не приходило в голову?»

Наверное, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд, женщина обернулась, и Андрей поспешно поднялся с лавочки. Опустив голову, чувствуя за собой какую-то неосознанную вину, боясь, что его окликнут, позовут, он зашагал к арке, ведущей к выходу.

Только на улице Андрей отдышался, достал сигареты. Зачем его так тянуло в этот двор? Ему здесь нечего было делать. И снова вернулось ощущение утери чего-то дорогого, что оставалось теперь лишь на пожелтевших, тоже старых страницах дневника.

«То, что было, то прошло,— думал Андрей, торопясь к троллейбусу.— Зачем ей дневник какого-то мальчишки из довоенного, почти доисторического времени? И зачем Насте этот неоконченный рукописный роман? Даже Кузьмичу не все ли равно в конце концов, где погиб и где похоронен сын? Все поросло быльем...»

...В казарме звенела, отбивая радостные ритмы, Русланова гитара.

«Пришлет адрес — отправлю»,—решил Андрей, засовывая подальше в тумбочку, под стопку уставов, принесшую столько ненужных хлопот тетрадь.

16

Почему это вспомнилось тогда? Почему?

Он вдруг явственно ощутил ногами горячую хрустящую гальку железнодорожной насыпи, от шпал густо запахло разогретым мазутом, голубые рельсы манили в несбыточную для детства мечту. Они учились тогда, кажется, в пятом классе, в их речных краях даже школьникам было модно дарить ко дню рождения спиннинги, и трое дружков — Атос, Портос и Арамис, зажимая их под мышками, как шпаги, шли на рыбалку.

Они проходили мимо поезда дальнего следования и уже почти миновали последний вагон, как чей-то голос заставил их обернуться — с последней подножки уже тронувшегося состава им махал солдат. В память врезалось его лицо: смешливые глаза из-под надвинутой на лоб пилотки, ослепительные зубы; их руки неловко столкнулись, а когда разъединились, в руке Андрея осталось письмо. «Опусти, мальчик! Слышишь? Сегодня же!» — успел крикнуть солдат и еще долго махал им с подножки, все уменьшаясь и уменьшаясь.

Возвращаться к почтовому ящику не хотелось, и, решив, что опустит письмо на обратном пути, Андрей сунул конверт под лопухи, кустисто заполонившие старую насыпь.

Он вспомнил о нем уже дома, посреди ночи, когда в дремотном забытье перед зажмуренными глазами подпрыгивали на зеркальной воде поплавки, а рука все еще тянула напружиненную живой, бьющейся тяжестью лесу. Кажется, он спал, и разбудил его толчок памяти. «Письмо,— покрываясь холодной испариной, спохватился Андрей,— я же забыл опустить письмо!»

От их дома до станции было километра два с половиной, и, представив это расстояние в кромешной темени, в зловещих перебежках бродячих собак да мало ли еще в каких полуночных страхах и неприятностях, Андрей натянул до подбородка убаюкивающе теплое одеяло, но тут же вскочил и, подрагивая в ознобе, начал одеваться. Кто знает, что таилось в том письме, которое нужно было отправить именно сегодня.

До станции он почти бежал, неотрывно глядя на спасительно брезжущие вдали фонари, он боялся оглянуться, сердце замирало при малейшем шорохе, а когда, наконец, вскарабкался на осыпающуюся, гремящую галькой насыпь и сунул руки в мокрые от росы лопухи, заледенел и облился жаром — под лопухами было пусто. Андрей опустился на колени и, до боли их обдирая, начал елозить, шарить по осклизлой траве, прощупывая каждый листик, каждый камушек. Рука инстинктивно отпрянула, ткнувшись во что-то студенисто-липкое («Лягушка!»), но, переборов страх и отвращение, он снова и снова отползал на коленях назад, кружил на месте, все еще надеясь и уже отчаявшись. Конверт нашёлся метрах в десяти от того места, где он его искал — просто плохо заметил, куда положил,— и, с бьющимся сердцем ощупывая сыроватый бумажный пакетик, Андрей испытал в ту минуту чувство, которого так остро не испытывал потом никогда. Чувство потерянного и вновь счастливо обретенного. А может быть, это было чувство очищенной совести?

О неотправленном и чуть было не потерянном в детстве письме ему долго и настойчиво напоминала тетрадь в темном коленкоровом переплете, спрятанная в дальнем углу тумбочки под аккуратной стопкой уставов и наставлений. От Насти не было ни письма, ни открытки. Чего он ждал?

...Андрей медленно, с наслаждением водил кистью по шершавому, изборожденному морщинами стволу, когда высунувшийся из окна дневальный позвал его к командиру роты. Он не придал значения этому вызову и, тщательно вымыв руки, смахнув с сапог капли известки, вошел в кабинет.

— Проходите,—сказал командир, не приглашая садиться. Он выдвинул ящик стола, достал конверт с мелькнувшей четким шрифтом ведомственной надписью и протянул Андрею.— Поезжайте. Вот разрешение...

Андрей оторопел. Все сместилось, сдвинулось в мгновенной догадке: «Куда? Какое разрешение? От министра? В ВДВ?» Он не сразу сообразил, вспомнил, что это то самое разрешение, о котором командир роты обещал похлопотать три месяца назад. Из Генерального штаба пришел наконец допуск на посещение архива Министерства обороны СССР.

Снова среди кромешной, сырой, озвученной лаем бродячих собак ночи Андрей бежал по пустынной, безлюдной дороге к спасительно маячившим вдалеке теплым огням железнодорожной станции.

Уже сидя в душной электричке и рассеянно поглядывая в окно, он подумал о том, что слишком опрометчиво поехал в Подольск. Эту неуверенность он почувствовал еще в разговоре с командиром роты. Андрей догадывался: получить допуск в архив помог генерал, солдатам попасть туда было непросто.

— Слишком мало данных,— сказал майор.— Очень шаткая у вас привязка. Красную поляну освобождали многие части — и стрелковые и танковые... Найти бойца все равно, что дерево в лесу. Но разрешение есть. Поезжайте.

Чем ближе Андрей подъезжал к Подольску, тем больше сомневался. В самом деле, какие у него данные? Единственное доказательство — последнее письмо Николая. Но почему именно Красная поляна? Потому что «поющие деревья»?

Проходная архива, стиснутая с двух сторон каменным забором, охватившим большую, как парк, территорию, напоминала контрольно-пропускной пункт воинской части.

Андрею выписали пропуск, и, переступив порог, он подумал, что, в сущности, оно так и есть: в молчаливых, похожих на казармы домах, выстроившихся вдоль асфальтированной и по-гарнизонному чистой дорожки, разместилась не одна часть, а все Вооруженные Силы, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. Только эти дивизии и армии волшебно сейчас уменьшились и успокоились в тесных несгораемых сейфах.

Его встретила строгая, молчаливая женщина. Холодно посмотрела сквозь очки, проверила докумен-

ты. «Теперь она командует здесь дивизиями»,— подумал Андрей, и эта мысль его развеселила.

— Все ищут,— вздохнула женщина,— все надеются...

Наверное, он был не первый по такому делу — не задавая лишних вопросов, женщина помогла заполнить какие-то карточки, подписала какие-то бумажки и все с той же сухой вежливостью направила в другую комнату для получения документов.

«Как все просто!» — удивился Андрей.

Небольшая комната с зарешеченным окном напоминала камеру хранения — все стены были в стеллажах, на которых ровными рядами стояли удивительно одинаковые черные чемоданчики.

«И тут шеренги...» — подумал Андрей.

За перегородкой от телефона к телефону металась полная, но быстрая и ловкая женщина в темном халате, и Андрей отметил в ее ответах ту же сдержанность и официальность военного человека — в самом деле, чем не штаб этот архив! Трое посетителей — генерал в поношенном, старого покроя мундире, парень в клетчатом пиджаке и быстроглазая, в пионерском галстуке девушка терпеливо ожидали очереди.

— Что у вас? Это вы от Валентины Александровны? — бросив трубку, спросила Андрея полная женщина.

Андрей протянул бумажку и по смягчившемуся взгляду, которым женщина по ней пробежала, понял, что строгая Валентина Александровна сделала там какие-то особые пометки, способные поторопить сотрудников,— на удовлетворение своей заявки по правилам архива, висевшим у входа, он мог рассчитывать только на следующий день.

— Погодите минутку,— совсем уже по-свойски сказала женщина и сняла телефонную трубку.— Девочки! Сделайте мне триста тридцать первую дивизию... И двадцать восьмую бригаду, пожалуйста.— Помолчала, поморщилась, выслушивая, очевидно, возражения.— Знаю, знаю, что много заявок. Но в виде исключения... Уж больно симпатичный солдатик...

И, ободряюще улыбнувшись, кивнула Андрею.

— Погуляйте полчасика, ваши части уже на марше.

Андрей вышел.

Здесь и курили, как в расположении части,— не где придется, а в специально отведенном месте, в «курилке».

На лавочке под деревом сидел майор. «Пожалуй, постарше нашего...»,— определил Андрей и, спросив разрешения, присел рядом.

Офицеру, наверное, хотелось поговорить, и он спросил первым:

— По истории части приехали?

— Нет, не по истории,— сдержанно ответил Андрей.— По личному вопросу.— Он подумал, что нехорошо скрытничать перед офицером, и добавил: — Солдата ищу, неизвестного...

— Трудное дело,— сказал офицер.— По оперсводкам смотрите... Подробнейшая картина.

В читальном зале сидело за столиками несколько человек, Андрей узнал генерала и пионервожатую.

Он сел за свободный стол, открыл чемоданчик и достал кипу толстых тетрадей, изрядно потрепанных, похожих на инвентарные книги. Все они были сшиты, пронумерованы и скреплены печатями. Прочитав чью-то затейливую подпись, удостоверяющую число страниц и помеченную сорок первым годом, Андрей с неожиданной грустью подумал о том, что обладателя этой подписи, возможно, уже нет и в живых. Он мог погибнуть через час после того, как расписался в тетради.

В первой книге были подшиты оперативные сводки, написанные на листочках, вырванных откуда попало,— из школьных тетрадей, из блокнотов, и просто обрывки бумаги. Донесения набрасывались второпях — то ручкой, то карандашом. Больше всего карандашом. И правда, откуда там быть чернилам?

Перелистывая бумажки, исписанные разными почерками, захватанные, надорванные, вглядываясь в цифры, обозначавшие части и наименования населенных пунктов, Андрей окончательно осознал правоту майора — найти фамилию солдата было бы чудом.

«Надо искать по названию»,— решил он, и глаза его, как бы запрограммировав, ловили теперь в пестроте строк только два слова: «Красная поляна».

На девятнадцатом листе они словно споткнулись: «Наштадиву 331 штабриг 28 Чашниково 13.15; 5.12.41, карта 100000;

«С 14.00 3 батальон с северной окраины Катюшки будет переведен на исходное положение для атаки на опушку леса (примыкает к Красная поляна Юго-Запада)».

На следующем листке, вырванном из блокнота, была торопливо набросана другая сводка:

«Боевое донесение № 14 к 6.00 6.12.41.

3 сб в течение проведенных операций за Катюшки, имея большие потери (до 365 ч), нуждается в пополнении личным составом».

Больше всего Андрея поразило то, что печальная эта (погибло 365 человек!) оперсводка была написана спокойным остроотточенным карандашом. А глаза продолжали искать Красную поляну. Стоп!

«Оперсводка № 16. 12.00. 6.12.41.

...11.35 6.12.41 г. 3 сб под прикрытием артогня и танков ворвался в южн. окр. Красная поляна, ведет уличный бой с противником, засевшим в зданиях Красная поляна.

12.35 6.12.41 г. 2 сб вышел на юг. зап. окр. Красная поляна, ведет уличный бой, развивает наступление с 3 сб.

13.25 2 и 3 сб ведут бой с ОТ пр-ка, засевшим в школе и больнице, продолжается очищение отдельных домов от пр-ка на юж. и юг-зап. окр. Красная поляна... Группа разведчиков с автоматчиками 28 стр. б-ды ведут разведку леса зап. Красная поляна... Сведения о потерях будут представлены в очередной сводке...»

«Разведку леса?.. Разведку леса... Уж не того ли, где «поющие деревья»?

Андрей перелистал еще несколько страниц...

«Боевое донесение №17 к 18.00 6.12.41 г

Части 28 сбр., выполняя боевую задачу, в 12.10 6.12.41 с боем заняли Красную поляну...»

«Части, части, группы, «сб», «сбр», а где же солдаты? Где Сорокин?» — с отчаянием листал тетрадь Андрей — картина боя менялась буквально по минутам!

— Ну, как успехи? — услышал он голос над собой и увидел строгую женщину, которая выписывала документы.

Андрей пожал плечами, в бессилии глядя на кипу тетрадей.

— Вы посмотрите Книгу безвозвратных потерь,— посоветовала женщина.— Эти списки обновляются... Все время кого-то находят...

Книга безвозвратных потерь — объемистая и тяжелая — была начата 1 декабря 1941 года. Она сплошь состояла из фамилий, и, прежде чем заняться поиском, Андрей невольно произвел простое вычисление. На каждом развороте книги — слева и справа — помещалось ровно по восемь фамилий уби-

тых — очевидно, для удобства подсчетов. Андрей насчитал двести тридцать семь таких разворотов, помножил это число на восемь, получилось тысяча восемьсот девяносто шесть человек — убитые только за год и четыре месяца...

Перед глазами замелькали фамилии, и, растерявшись перед безмолвным строем погибших, таким огромным, что если бы проводить вечернюю поверку, понадобились бы, наверное, не одни сутки, он решил искать по старому, уже найденному им самим способу — по названию населенного пункта. Андрей медленно повел пальцем левой руки вниз по графе — «Где убит, когда», а правой — «Где похоронен».

Он начал по алфавиту, с буквы «А».

Анчарук Петр Васильевич, умер от ранения, похоронен в д. Соснино. Домашнего адреса не значилось, и выходит, некому было сообщить о гибели. Если кто-то из родственников остался в живых, они не знают, где их Петя или Петр Васильевич. Не было «обратных», домашних, адресов у помощника командира отделения Виноградова Ивана Васильевича и у подносчика патронов Волкова Ивана Евлампиевича...

Почему не было?..

Все-таки ему надо было опять приучать глаза к словосочетанию «Красная поляна», и он читал теперь только графу «Где похоронен». Монотонно, как ступеньки эскалатора, едущие вниз, возле каждой фамилии, по восемь раз на каждой странице мелькало «Убит, убит, убит...».

«Похоронен...»

«Западная окраина 200 м от деревни Борисовка».

«Братская могила. У опушки леса, юго-восточнее деревни Шеломки».

«Лес. Юго-восточнее деревни Леушино».

«А ведь эти могилы могли и не сохраниться... Столько похороненных, а многие так и не найдены...» — подумал Андрей и опять наконец-то набрел взглядом на Красную поляну.

Похороненными в Красной поляне значились трое подряд, чьи фамилии начинались на букву «С». Скворцов Илья Иванович из Горьковской области (под графой «Когда и по какой причине выбыл» значилось «убит 4.12.41 г.»), Смирнов Василий Ильич из Йошкар-Олы, Смирнов Иван Федорович, призванный из Иванова,— под их фамилиями сносками было написано «там же», «там же», «там же»... Сорокин Николай здесь не значился.

Где-то возле Красной поляны, у лесной сторожки, между деревнями Антипино, Никитская, лежал стрелок Бабанов Илья Иванович, Грачев Александр Петрович: «У дороги, за рощей, одинокая могила...»

Андрей обратил внимание на то, как изменился цвет бумаги и формат — значит, одной тетради не хватило, и к ней суровыми нитками пришили другую, потолще.

Возле лесной сторожки между деревнями Антипино и Никитовская было похоронено еще трое... Только вот «сторожка» или «дорожка»? В двух местах это слово из-за одной буквы читалось по-разному.

Нет, найти нужную фамилию оказалось не так-то просто, как он думал. Его блуждание по страницам «Книги безвозвратных потерь» было похоже на блуждание по лесу. Андрей понял, что окончательно запутался — фамилии, как деревья, мелькали слева, справа и впереди, и из этого молчаливого леса людей не было выхода.

Он сложил тетради — в голове шумело, как после бессонной ночи дневальства. Каким тяжелым показался ему чемодан!

Краснощекая пионервожатая стрельнула в его сторону глазами, когда он вставал. Андрей, никак не отреагировав, прошел мимо.

— Приходите еще,— улыбнулась полная женщина, водворяя на полку его черный чемоданчик.

— Приду, спасибо,— машинально ответил Андрей, думая о том, что вряд ли еще сюда придет.

Переступая порог проходной, он обернулся, и ему показалось, будто в темных окнах архива мелькнули солдатские лица.

«Сколько их там, сколько же их там! — испытывая вдруг навалившуюся на грудь тяжесть, подумал он.— Роты... Дивизии... Армии... И одинокая могила где-нибудь у дороги, на опушке...»

Майор просил вернуться к двадцати ноль-ноль. На часах было двенадцать.

«Успею,— решился Андрей.— Только вот с какого вокзала Красная поляна?»

17

Странно — места эти показались Андрею знакомыми, хотя он никогда здесь не был. Словно бы уже виденное однажды всколыхнулось, поднялось на миг со дна памяти — и допотопная, рыжеватая от ржавчины колонка, возле которой с визгом и хохотом озорничали босоногие мальчишки, и тянущаяся к белой цистерне за квасом молчаливая, изнывающая от жажды, давно уже уставшая препираться очередь.

Андрей пристроился последним, снял фуражку, горячим обручем сдавившую лоб, и, расстегнув верхнюю пуговицу воротника, благо поблизости не было офицеров, ослабил галстук.

Зачем он приехал? У кого спросит то, о чем хотел спросить? Вот у этого белотелого, в майке-сетке дачника, уткнувшегося в газету? Или вот у этой, в общем-то симпатичной девицы, что парится в желтом шерстяном брючном костюме?

Но именно потому, что Андрей осознавал нелепость подобного вопроса в очереди за квасом, именно поэтому вопреки его собственному желанию кто-то словно подтолкнул обратиться к девушке.

— Извините,— как можно учтивее произнес Андрей.— Вы случайно не знаете, где здесь стояли пушки, из которых немцы собирались стрелять по Москве?

— Пушки? Стреляли по Москве? Отсюда? Не знаю...

Белотелый дачник аккуратно сложил газету и неожиданно подтвердил:

— Стояли, стояли пушки... Талызин их выбил отсюда танками. Как шибанули, из немцев — дух вон... Не успели по Москве стрельнуть.— И дачник обтер смятым и мокрым носовым платком шею.

— Не Талызин,— осторожно поправил Андрей,— а Ремизов. И еще дивизия генерала Короля и двадцать восьмая бригада полковника Гриценко... Это же здесь сержант Новиков сжал зубами концы провода — связь держал. А руками стрелял...

— Поди-ка,— всколыхнулся животом дачник,— всех знает. Так сказать, по дорогам славы отцов. Не угадал?

— У меня тут родственник погиб,— неожиданно для себя сказал Андрей. Чем-то он должен был объяснить свой интерес к незнакомому городку, к пушкам, о которых здесь все уже забыли.

— Ясное дело,— без всякого сочувствия кивнул дачник.— А вы наливайте, наливайте! — заторопил он продавщицу.

И очередь опять затеснилась к цистерне, к живительной струйке, что скудела с каждой кружкой, с каждым бидоном.

— Иди-ка, сынок, напейся,— позвала продавщица — А то не дождешься этих окрошечников.

— Правильно! — поддержал дачник.— Отпустить солдату кваса без очереди.

— Ничего, я постою,— застеснялся Андрей.

— Подходи, подходи, солдат, сами знаем — минутки-то в увольнительной золотые! — выкрикнул из толпы старичок в холщовой косоворотке и в изрядно поношенной, словно перьями встрепанной соломенной шляпе. Поводил-поводил головой: — А пушки твои, они вон — возле сто пятого дома стояли, за проулочком налево. Самый высокий взгорок. Да и не узнать — лес был, а теперь понастроили... Салют оттуда видно, в самый раз...

Андрей залпом опорожнил кружку и, поблагодарив, пошел по улице.

О каком сто пятом доме говорил старик? За проулочком налево теснились большие новые дома. Может, вот этот, кирпичный? Но здесь негде стоять пушкам... И от деревьев, от леса, тоже ни следа. Разве что вот эта ложбинка, поросшая мохнатой ромашкой? Старый окоп или траншея... Вряд ли...

На забытом людьми, поросшем бурьяном месте стоял Андрей, все больше и больше убеждаясь в своей наивности, в тщетности поисков.

«Но если отсюда смотрят московский салют, значит, могли немцы видеть город... Тогда, в сорок первом...»

Андрей постоял еще с минуту, подставив лицо свежему ветерку, надвинул фуражку и зашагал, теперь уже увереннее, к синеющему вдали лесу.

В лесу было прохладно, как будто зеленый дождь окропил все — и деревья, и кусты, и поляны; пахло свежестью молодой листвы, оттаявшей землей, и, казалось, вот-вот зазвенят солнечные струны, протянутые сквозь деревья к ласково-нежной, похожей на озимь траве.

Лес справлял новоселье весны. И каждая ветка тянулась к свету, к простору. В розовых клювиках почек держали сморщенные листики пригревшиеся липы. Застенчиво трепетали осины. Клен поднимал свои светло-зеленые, еще свернутые флажки. А на соснах, будто перекочевавшие с новогодних елок, вот-вот должны были загореться розоватые свечки. И оттого еще угрюмее казались ели, которые почему-то не торопились менять зимние, изрядно потрепанные вьюгами одежки. «Как давно я не был в лесу!» — подумал Андрей, вспомнив серый асфальт плаца.

Тропинка потерялась, и Андрей пошел напрямик, через щекочущие пушистыми сережками кусты орешника, задевая фуражкой о сучья, с козырька прозрачно свисала, налипала на лоб паутина. Он снял фуражку, распахнул мундир — становилось душновато.

«Куда я иду и зачем?» — подумал Андрей, продолжая идти. Позади остался частый, дрожащий осинник, впереди светился березнячок. Он на минуту остановился, и деревья как бы остановились вместе с ним; он пошел, и, дрогнув, точно боясь отстать, сбоку двинулись деревья. Что-то притягивало, что-то манило его в мельтешащей этой чащобе.

Сколько Андрей прошел? С километр, не больше. Захотелось покурить. Он сел на пенек и огляделся.

Только что шевеливший каждой былинкой, каждой веткой лес приумолк, притаился, словно тоже переводил дух. Андрей закурил, но, затянувшись, тут же придавил сапогом окурок — в родниковой чистоте воздуха не хотелось дымить.

«Зачем я пришел?» — спросил он себя, оглядывая столпившиеся, как бы наблюдающие за ним деревья.

Они были так же безмолвны и похожи одно на другое, и за каждым из них, как там, в архиве за каждой фамилией, хранилась тайна неузнанной жизни.

Андрей встал, обогнул куст орешника и остановился, замерев,— ему показалось, будто сверху раздался тугой, как от скрипки, звук.

Но лес опять молчал, словно сам прислушивался к шагам Андрея.

Неосознанное, какое бывает в лесу, чувство страха, чувство, как будто за тобой кто-то наблюдает, охватило Андрея, заставило прибавить шагу.

И снова протяжно что-то скрипнуло наверху, по макушкам пробежал шумок.

«Да это же ветер,— догадался Андрей, успокаиваясь.— Это ветер тронул деревья...»

«Поющие»,— словно подсказал ему кто-то.

«Поющие деревья!» — повторил Андрей, и горячая волна догадки окатила сердце.

Он задрал голову и стал шарить взглядом по переплетенным сучьям и ветвям, ожидая нового порыва ветра.

Теперь пропело справа, он повернулся и сразу увидел их рядом — молодую березку и дуб.

Это были они, те самые «поющие деревья»,— даже отсюда, шагов с десяти, виделась как бы чуть стесанная ветвь дуба. Касаясь березового ствола, она издавала под ветром тугой, как у скрипки, звук.

Дуб казался постарше, а береза едва доставала ему до середины. Зеленая и острая, как озимь, трава пробивала под ними бурый, дотлевающий покров осенней листвы. И, вглядываясь в еле заметные, неровные очертания бугорка, Андрей опять вспомнил прочитанные в архиве записи о затерянных на опушках и лесных тропках безымянных солдатских могилах.

Да, это был лесной бугорок, нанесенный весенними ручьями, даже было видно, как корни корявились из-под листьев, выступали их завитки, но, еще раз взглянув на холмик, Андрей сразу подумал о Кузьмиче и о Насте. Где-то здесь навсегда оставался их Николай.

«Я скажу Кузьмичу... И ей... Я скажу про деревья — точно!» — с радостью, с ощущением внезапной легкости решил Андрей, лихорадочно присматриваясь, запоминая место.

Он не знал, что этим «поющим деревьям» всего лишь по тридцать—сорок лет.

Когда Андрей вернулся в казарму, командира роты уже не было.

— Тебя включили в почетный караул,— расширив глаза, как будто что-то стряслось, чуть ли не крикнул Патешонков, стоявший у тумбочки дневального.

— В какой? — спросил Андрей.

— К могиле Неизвестного солдата.

18

...От безмолвного потока людей, медленно плывущего мимо Огня, его отделяла ниша, в которой стелилось по звезде пламя, и гряда цветов, положенных вдоль мраморного уступа,— каких-то десять шагов, не больше. Но, прикованный вниманием к самому себе — ему все казалось, что слабо надраил пуговицы, что завернулись, перепутались аксельбанты, что уже не очень

свежи перчатки,— Андрей замечал лишь шевеление толпы, белесую, сплошную череду лиц и цветы, цветы — по одному, букетами, в целлофановых обертках и в корзинах, какие выносят на сцену. И каждый, кто подходил к могиле, смотрел сначала на Огонь, а затем на него, Андрея Звягина.

Андрей старался не шевелиться, а когда налетевший ветерок пахнул в лицо гарью, неимоверным усилием переборол желание кашлянуть и не качнулся, не дрогнул, оставаясь в неподвижности. Ставшие чужими ноги наливались горячей, расплавленной тяжестью, а ворот рубашки так сдавил шею, что захотелось хоть на секунду отпустить галстук.

Интересно, сколько он уже стоит? Этого Андрей не знал, потому что не мог даже взглянуть на часы. Время для него остановилось. И он жил сейчас, как бы весь растворенный в ожидании, в тревожной горечи несостоявшейся встречи: шествие к могиле уже началось, а ни Кузьмича, ни Насти до сих пор не было.

Еще венок, за ним другой, потом третий колыхнулся атласными лентами. Весь мрамор возле могилы уже был закрыт цветами, как будто они проросли прямо из камня, образовав невиданный по узорам ковер. А букетов все прибавлялось и прибавлялось, и пожилая женщина в синем рабочем халате, наверное, смотрительница, бережно сдвигала их в сторону, освобождая место другим. Если бы она этого не делала, к могиле из-за цветов невозможно уже было бы подойти.

Венкам, увесистым гирляндам, свитым из еловых веток, тоже не хватало места, и их относили, прислоняли к стене, которая теперь цвела и зеленела из конца в конец, от Арсенальной до Троицкой башни. И все новые венки вставали перед Андреем.

Очередь к могиле росла, двигалась, и уже невозможно было разглядеть, где она начинается и где кончается. Но что-то единое двигало этой молчаливой толпой. И позванивающие медалями мужчины, и принарядившиеся женщины, и благочинные старушки, и неторопливые старики, и даже притихшие ребятишки будто видели кого-то, стоявшего рядом с Андреем, шли к этому, ими видимому, на поклон.

— Красавцы... Спасибо... Вот молодцы...— услышал Андрей сбоку и покраснел, поняв, что слова эти были обращены в их, часовых, адрес.

Нет, он не чувствовал времени. Потому и не сразу догадался, кто пустил невидимые часы, когда слева, со стороны Боровицких ворот до него донесся как бы стук метронома.

Шаг в шаг, шаг в шаг...

Из-за поворота показались трое с карабинами «на плечо».

— Смена идет! — восхищенно вырвалось из толпы.

И все подались вперед, к этим троим, как бы желая лично, воочию убедиться, что смена идет, и идет достойно, как подобает.

Метроном стучал уже совсем рядом, и его удары совпадали с ударами сердца.

Шаг в шаг, шаг в шаг...

Впечатываясь сапогами в гранит, солдаты единым, маятниковым взмахом вскидывали руки в белых перчатках.

Шаг в шаг, шаг в шаг...

Карабины почти не касались плеч, а как бы опирались о воздух, и в той бережности, с какой часовые их несли, чувствовалось священнодействие особого ритуала.

Шаг в шаг... Стоп! Бряцнули у ног приклады, трое одним движением повернулись направо, замерли, и с новым командным ударом приклада о мрамор двое начали всходить по ступеням.

Андрей резко повернул голову влево и увидел широко раскрытые глаза Патешонкова, словно этим горячечным своим взглядом сменщик секундно что-то у него выпытывал.

Обратный путь в караульное помещение он не помнил...

19

Наряд, назначенный к могиле Неизвестного солдата, размещался в сводчатой, похожей на келью комнате. Может, вот в это, когда-то слюдяное оконце поглядывал на Русь сам Пимен. Но лейтенант Гориков, не пропустивший, наверное, ни одной книги по истории Кремля, утверждал категорически, что помещение, занимаемое почетным караулом, некогда принадлежало стрельцам. Тем самым, усато-бородатым, с бердышами и копьями, а потом с пищалями. Стрельцов все помнили по картине «Утро стрелецкой казни».

Лейтенант Гориков, постучав слегка шашкой по массивной, обитой железом двери, заводил рассказ о вступлении в Москву французов и о взятии ими приступом вот этих самых Троицких ворот.

С лица майора сходили остатки напускной строгости, как только он прислушивался к тому, о чем с видом завзятого экскурсовода разглагольствовал Гориков.

— А что, двери те же самые? — недоверчиво, но уже заинтересованно спросил кто-то.

— Те же! — без тени сомнения отвечал Гориков. — Историю надо знать, товарищ Плиткин, историю... А вы все детективчиками пробавляетесь и фантастикой. Знаю, не отпирайтесь! Станислав Лем из вашей тумбочки не вылезает. А Львом Николаевичем Толстым там и не пахнет... А между тем, товарищ Плиткин, вам надлежало бы знать, что после того, как затихли здесь выстрелы, странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами и, каркая и шумя тысячами крыл, закрутилась в воздухе. — Лейтенант замолчал и, пригнувшись к узкому оконцу, показал на видневшуюся вдали Арсенальную башню: — Во-он видите птицу? Черный комок на карнизе? Та самая галка... Из тех...

Плиткин встрепенулся:

— Не может быть... Галка сколько живет?..

— Сто — сто пятьдесят лет! — не моргнув глазом, ответил Гориков.

Тут не выдержал, рассмеялся майор, хлопнул ладонью по столу:

— Хватит, Гориков! Вы бы лучше напомнили о несении службы у Вечного Огня. Есть же совсем новички...

И сразу будто подменили Горикова, снова не весельчак-балагур, а серьезный командир, товарищ лейтенант.

— Есть, товарищ майор. Это я для разрядки...

— Для разрядки... — повторил майор насмешливо.

Но Гориков, казалось, уже его не слышал. Встал, выпрямился, натянул перчатки, тщательно их раз-

глаживая, как хирург; придирчиво оглядел очередную смену. Разводящий Матюшин стоял уже наготове и с лету перехватил взгляд лейтенанта.

— Третья смена, приготовиться..

Что-то еще хотел сказать Гориков, но было видно — сдержал в себе несказанное. Потоптавшись на месте, как бы разминаясь, он долго смотрел на выщербленный, быть может, стрелецкими пищалями и секирами каменный пол, вздохнул и обернулся к майору:

— Разрешите начать развод караула?

— Разрешаю,— сухо ответил майор.

Андрей вытянул занемевшие ноги, которые покалывало тысячами иголок, тяжело облокотился на стол, прикрыл глаза: оранжевые круги перекатывались, перемещались, меняли очертания и превращались в венки, нескончаемо выплывавшие из бесконечной и кромешной, как пропасть, темноты.

Тюльпаны, незабудки, подснежники, ветки сирени переплетались в гирлянды, и среди этого фантастического соцветья проглядывали руки — морщинистые, узластые, в прожилках, тонкие и изящные со стрельчатыми ноготками маникюра, маленькие, пухлые, словно перетянутые в запястье ниткой,— руки, бережно кладущие и поправляющие цветы, парящие, снующие над ними.

Из множества лиц, как в наведенном до полной резкости объективе, вдруг выявлялось лицо с таким выражением боли, со стиснутыми, сдавившими вскрик губами, что начинало казаться, будто человек этот видел нечто страшное, роковое, совершенно недоступное, невидимое тебе.

Сотни, тысячи крохотных Вечных огней отраженно светились в сотнях, тысячах глаз.

Немыслимо далеким представлялся ему теперь день Девятого мая, когда он встретил в ларьке Настю с портретом солдата на ватманском листе,— таким далеким, словно до сегодняшнего Девятого мая прошло много-много лет. Но странно — то прошлогоднее и нынешнее утро как бы слились, вобрали в себя пространство времени, и Андрею начинало казаться, будто в караул у Вечного огня он поставлен с тех пор, как помнит себя. Значит, вот какую тайну хранили, не могли передать на словах Матюшин и Сарычев...

«Может быть, она в ларьке, опять с портретом?» — начал опять рассуждать он, теряясь в догадках. Но Кузьмич-то должен прийти обязательно!

И тут Андрей подумал о том, что Настя могла появиться здесь с Кузьмичом не в первую, а во вторую смену караула. В самом деле — почему с утра, а не позже, не после обеда, не к вечеру? «Значит, я могу их вообще не увидеть?» — совсем потерялся он.

В дверях брякнули карабины — это вернулась с поста вторая смена.

В комнату, пригнувшись, ввалился Патешонков, тяжело опустился на табурет, снял фуражку, вытер платком лоб. Почему он такой бледный? В лице ни кровинки, влажные волосы перепутались на лбу.

— Послушай, Андрей, я, кажется, видел твоих,— сказал он, все еще куда-то вглядываясь, прищурив утратившие былую лукавость глаза.

— Не может быть! Когда?

— По-моему, они,— устало прикрывая веки, проговорил Патешонков.— Вышли из ворот... наперерез делегации. Старик в помятом пиджачке... Такого вокзального вида. В кепке. Ветром качает, но ничего еще, держится, молодец. Он нес подснежники... Нет, кажется, незабудки... В общем, наверно, твой. И девушка с ним...

Будто кипятком плеснуло в лицо Андрею.

— Да брось ты...

— Чего брось... В длинной такой юбке... Как королева. И огромный букет тюльпанов...

— Длинной? — переспросил Андрей.

— Да при чем тут юбка? — возмутился Патешонков.— Представляешь, ситуация? Им бы пять минут переждать, пока пройдет делегация, а они — напрямик. А им наперерез, как торпеда, милиционер: «Как вы смеете? Вы что, не видите?» И девушку берет так — за локоть... А она — ноль внимания. Спокойно отвела руку и на ступеньки. Мы, говорит, не к вам пришли, а к нему. И показывает на Вечный огонь... И старика за собой. Пока венок не поднесли, они все стояли. Они ведь?

— Нет, не они,— совершенно уверенный в том, что это были не Настя и не Кузьмич, ответил Андрей.

— Пойдем подышим? — предложил Патешонков.

Спросив у лейтенанта разрешения, они вышли на пять минут из караулки.

Весь Александровский сад обтекала говорливая человеческая река. Она начиналась у Кутафьей башни, водопадом перекатывалась вниз, по ступеням каменной лестницы, изгибаясь, текла по липовой аллее к Боровицким воротам, затем круто поворачивала обратно и уже медленнее шевелилась под высоким и отвесным берегом — Кремлевской стеной. К Вечному Огню шли, наверное, тысячи, а может, миллионы людей. То двигаясь, то замирая, новая приливная волна могла достичь устья — там, возле могилы Неизвестного солдата,— не раньше, чем через три-четыре часа. Три-четыре часа нужно было простоять в очереди к Вечному огню.

И все терпеливо ждали, и еще сотни людей, кому не удалось пристроиться в очередь, впились руками в железную решетку ограды.

«Где же Кузьмич? Где Настя?» — все сильнее охватываемый беспокойством, поглядывал на толпу Андрей. Заметить, узнать их в этой бесконечной человеческой реке было невозможно.

20

А Кузьмич в это время лежал в сумрачной, затененной шторами больничной палате; только-только, как он любил подшучивать сам над собой, «была отбита очередная атака противника» — разбитые ампулы валялись на столе, как отстрелянные пулеметные гильзы, противник отступал, вместе с ним отступала от сердца боль. Только надолго ли? Перебирая в памяти подробности последнего часа: суматошное мелькание белых халатов, резкий нашатырный запах лекарств, ватную слабость во всем теле, растерянно склоненное над ним жаркое лицо Насти,— Кузьмич мучительно припоминал что-то важное, о чем нельзя было забыть. Ах, да, ему привиделась — к чему бы это? — девяностолетняя Кривая Авдотья, как ее по-уличному звали в деревне. Вот тебе раз, и не что-нибудь, а похороны. Да-да, она ж всего два дня хворала, а потом попросила себя обрядить. Сыновей, дочерей, внуков понаехало — уж больно они любили старуху, видать, каждому из них успела сделать добро.

«Не плачьте, дети вы мои,— сказала им Дуня.— Лучше почаще на могилку приходите. Вот когда ходить ко мне перестанете, тогда я совсем умру. А так — вон сколько мне еще жить: дети будут приходить, потом внуки, а за внуками, глядишь, и прав-

нуки наведаются, свои цветочки посадят... Ходите, ходите на могилку мою...»

Много родных вокруг Дуни стояло, так много, что и сейчас Кузьмич видел — между взрослыми, как опята на пнях, уже правнучата светлыми головками отовсюду выглядывали.

А у Кузьмича вон как обернулось... Ни сын его, ни он сына.

Он давно покорился беде, смирился с тем, что война убила Николая — она убила многих, и чужие, незнакомые люди, обладатели таких же «похоронок», словно делили с ним заочно его несчастье, но чем ближе подступала старость, тем больше тревожило Кузьмича другое — он не видел могилы сына, не знал точно, как и где тот погиб, и от этой неизвестности страдал тем сильнее, чем дальше отступал по времени от даты, обозначенной на «похоронке».

Теперь уж и не помнил Кузьмич, какие житейские дела-заботы привели его на улицу Горького. Только остановила его непролазная, во всю длину тротуара — куда ни ткнись — толпа. Похоже, так здесь бывало, когда героев встречали — то папанинцев, то чкаловцев... Космонавтов приветствовали и чествовали теперь на другом, новом пути в столицу — на Ленинском проспекте. А улица Горького осталась в стороне, как старая дорога.

Но странным показался Кузьмичу народ, терпеливо кого-то поджидавший. Ни песен, ни флагов, ни привычного веселья. Мрачный стоял народ и молчаливый, как на похоронах.

Кузьмич втиснулся в толпу, и ему стало не по себе: «Что такое?» И вправду хоронили кого-то. Женщины утирали глаза, и вся темная, сумрачная толпа мелькала платками. Мужчины стояли хмурые, насупленные.

И тут Кузьмич услышал, как со стороны Белорусского вокзала медленной волной потекла музыка.

Он протиснулся ближе к тротуару, глянул влево и застыл: по живому людскому ущелью плыл, не ехал, а именно плыл бронетранспортер с прицепленным к нему артиллерийским лафетом, затянутым в кумач и креп. На лафете стоял красный гроб, увитый оранжево-черной гвардейской лентой.

— Это кого же хоронят?— спросил Кузьмич соседа, снявшего шапку.

— Солдата,— глухо произнес мужчина.

— Генералы за ним... Это что ж за солдат? — удивился Кузьмич.

— Тише вы...— укоризненно покачала головой женщина в черном платке.

А бронетранспортер приближался, и теперь, казалось, не музыка, а рыдания и стоны сопровождают эту невиданную процессию.

— Фамилия-то его как?— опять обернулся Кузьмич к соседу, но тот не услышал, ничего нельзя было услышать в том рыдающем марше.

— Он совсем неизвестный! — объяснил парень в плащике.— Неизвестный солдат... Его под Крюковом из могилы подняли... Везут к Кремлевской стене.

— Под Крюковом? — переспросил Кузьмич.— И совсем не знают фамилии?

Неясная догадка обожгла его.

«Под Крюковом... Под Крюковом...» — застучало в висках, и толчками крови, прихлынувшей к голове, стала возвращать память в тот страшный день известия о Николае, когда невидящими глазами Кузьмич читал-перечитывал последнее письмо, где смутно, намеками были очерчены координаты последнего местонахождения сына: «поющие деревья», береза и дуб — только они с Николаем знали, где растет их тайна. «Поющие деревья» — это же под Крюковом. Между Красной поляной и Крюковом...

Вот тогда-то, на улице Горького, он подумал о невозможном, о том, что в красном гробу на лафете везут его Николая. А почему бы и нет! Эх, жаль, что не дожила до этого часа мать!..

Кузьмич шагнул с тротуара на мостовую.

Смутным, как закатное солнце, багровым пятном проплыл перед ним гроб, мелькнули мальчишеские лица солдат почетного караула... Кто-то осторожно тронул за локоть, потянул в сторону.

— Нельзя, папаша, вернитесь на тротуар...

Кузьмич на мгновение оробел и уже было попятился, но взял себя в руки, возразил твердо:

— Я пойду за гробом, вы не имеете права... Мой сын тоже погиб под Москвой...

Рука отпустила.

Примеривая к остальным шаг, Кузьмич успокоенно пристроился сзади колонны — сердцу было так больно, словно оно лежало между оглушительно бьющими медными тарелками оркестра.

...Опять почувствовав сбивчивые, возбужденные лекарством толчки в груди («Ишь ты, сердце водит, как рыба на берегу жабрами!»), Кузьмич повернулся на правый бок и, глядя в голубеющую между шторами щель, заставил себя представить этот день — с самого начала таким, каким бы он был, не окажись Кузьмич в больнице.

Это утро наступало раз в году, и, утомленный долгим, тягостным его ожиданием, довольный, что снова перехитрил костлявую с косою на плече и дотянул-таки до заветного срока, не сдался, Кузьмич, еще лежа в постели, ловил, подкарауливал в синеющем окне первый проблеск солнца, а потом, сбросив одеяло и сунув озябшие ноги в стоптанные шлепанцы, смаковал каждую минуту, каждый час новой, опять подаренной благосклонной судьбою майской зари.

Вглядываясь в мутное, треснутое посредине круглое зеркальце, он подмигивал сам себе, хмуро щупал замшелые щеки и старательно брился припасенным для такого случая непременно новым лезвием, ставил на плиту чайник, бросал в стакан щепотку чая, пару кусков сахару и из деревянного ящичка, приделанного к подоконнику со стороны улицы — он называл этот ящичек торбой — доставал хлеб и масло. Завтрак был обычный, будничный, но, сметая с клеенки на ладонь крошки, Кузьмич думал о том, что обед устроит, пожалуй, повеселей. Из потертого, разлохмаченного по краям очешника он высыпал на стол мелочь и прикидывал свой «бюджет» — все, что скопил к желанному дню, урывая от пенсии. Эти сложенные один с другим рубли и скудной чешуей блестевшие на клеенке гривенники никаких пиршеств не обещали, и Кузьмич уже точно, по опыту прошлых лет, знал, сколько отпустит на сегодняшний день средств из весьма скромного своего бюджета. Если не подорожали цветы — пятьдесят копеек на букетик подснежников. Рубль с мелочью — на «чекушку». А вот это — Насте на шоколадку.

Вполне удовлетворенный немудреными своими расчетами, Кузьмич натягивал пиджак, брал щетку и выходил на лестничную площадку почиститься. Он помнил выходной бостоновый костюм еще совсем новым, темно-синим. «Да и я, пожалуй, не новей, и по Сеньке шапка»,— думал Кузьмич, тщетно пытаясь оттереть застарелые рыжие пятна. В химчистку нести костюм давно уже стеснялся.

Странно, Кузьмич не помнил, чтобы когда-нибудь в это утро шел дождь. На зеленых и влажных от

распиравшего их сока тополях невидимо вызванивали воробьи. Он помнил точно: деревья дружно выбрасывали первые листья именно к этому дню. Значит, все повторялось. И Кузьмич начинал сомневаться, действительно ли прошел год, может быть, всего лишь ночь мелькнула между двумя схожими, как близнецы, рассветами?

Потом Кузьмич отправлялся на рынок. Он неторопливо проходил между прилавками, приценивался, хотя знал, что ничего не купит. Просто любопытно было, что почем. С грустью ощупывая в кармане свой старый очешник с «бюджетом», Кузьмич круто сворачивал в сторону, искал свои любимые подснежники.

...До Александровского сада можно было ехать двумя путями. Но он привык к троллейбусу, который довозил до Большого театра. Даже в ранний час здесь всегда было многолюдно, и больше всего народу толпилось в скверике, буйно поросшем сиренью. Кузьмич останавливался в сторонке, доставал сигарету — здесь особенно остро чувствовалось повторение прошлогоднего утра.

«Ишь ты, где война назначила свидания!» — всякий раз не переставал удивляться Кузьмич.

Постояв на «своей остановке», покурив, как бы приготовившись к главному, Кузьмич сворачивал на проспект Маркса.

...За узорной решеткой чугунной ограды, словно составленной из древних копьев, зеленел, распускался цветами Александровский сад. Но с некоторых пор ничто его так не оживляло, как сияющий и днем и ночью над мраморным уступом огонек. Это зыбкое, дрожащее даже в безветрие пламя Кузьмич замечал, выхватывая взглядом еще шагов за сто, и шел на него, ничего уже не видя вокруг, как загипнотизированный. Он шел на огонь, который его притягивал, радужно мельтешил в глазах, озаряя самые дальние закоулки памяти.

Снова ладонь Кузьмича теплела от маленькой ручонки, как будто он держал в ладони колошащегося острыми коготками птенчика. Да, он вновь шел со своим маленьким семилетним Колькой. Куда, зачем? Кажется, на демонстрацию.

Почему чаще всего он вспоминает сына именно маленьким — в матроске и бескозырке с лентой «Герой»? Почему Колька является Кузьмичу ощущением теплой ладошки, зажатой в руке, словно птенчик?

Так, словно бы вместе с сыном, Кузьмич поднимался по ступеням, не замечая, не считая их, пока взгляд не обжигался о пламя, которое металось возле ног, билось, всплескивалось над раскаленной бронзовой звездой. Кузьмич наклонялся и опускал на мрамор свой букетик.

Его цветы, такие свеже-синие на рынке, казались ему увядшими, измученными. Быть может, потому, что рядом уже пламенели огнисто-пурпурные тюльпаны.

А, может, и правда, он лежал под этой мраморной плитой, его Колька?

Когда он его увидел? Тогда или сейчас? Колька, его Колька стоял перед ним.

Он возник из пламени и как будто брезжил — в сером парадном мундире, в хромовых, до блеска начищенных сапогах. С краснопогонного плеча свисали серебряные аксельбанты, из-под козырька под смоляными бровями смородинно чернели родные глаза. Острый Колькин подбородок был чуть приподнят над ослепительно белым воротником рубашки с галстуком, правая рука, затянутая в перчатку, придерживала карабин с лучисто сияющим штыком.

— Коля...— позвал Кузьмич,— Коля...

Но солдат, стоявший все так же неподвижно, не выказывал никакого желания отозваться, он не повел и бровью, и тут Кузьмич увидел, что это совсем не Колька, а тот парень, что год назад приходил к Насте, когда они жили в старом доме.

Зеленый дым заклубился над мраморной нишей, обволакивая огонь... Чем-то расплавленным обожгло сердце.

— Врача! Дежурного врача, скорее!—испуганным голосом позвал кто-то.

21

В последнюю, назначенную в почетный караул у могилы Неизвестного солдата смену Андрей заступил ровно в двадцать ноль-ноль. Солнце еще переливалось через крыши самых высоких домов, золотисто оплавляя окна, но в низине Александровского сада от деревьев и кустов уже ложились на асфальт густые сиреневые тени. Вечерело быстро, и с каждой минутой казалось, все ярче разгоралось пламя над бронзовой звездой, все резче обозначался круг багрового, вздрагивающего света, и в этот священный, как бы очерченный безымянной славой и безымянным подвигом круг вступали все новые и новые люди.

Андрей уже не ждал ни Кузьмича, ни Насти. Но, совсем отчаявшись их увидеть, он все же ловил беспокойным взглядом незнакомые лица, чувствуя, как незримым током что-то начинает соединять его с бесконечной, медленно текущей мимо Огня людской рекой.

Теперь он отчетливо различал почти каждого, кто подходил к могиле, он словно бы очнулся от оглушительного потрясения первой смены и, неотрывно вглядываясь в живой молчаливый поток, пытался понять, пробовал угадать, кто к кому пришел.

Вот эта старушка в черном платке... Загородилась рукой от света и словно переломилась — с поклоном положила ветку сирени, перекрестилась. Кого она видит застывшим взглядом в прокаленном свечении пламени? Сына? Мужа? Кто воскрес перед ней сейчас, в эту минуту?

Но, как бы ни напрягал воображение, как бы ни возбуждал фантазию, Андрей не мог видеть то, что видела старая женщина.

А затухающая ее память вдруг вызвала сейчас мальчишку — худого, узкоплечего, стриженого. Лямка вещевого мешка так сдавила, сдвинула воротник рубашки, что ей самой сделалось больно. «До свиданья, мама... Ну что ты, мам. Они же только в кино страшные». И все улыбался и все махал в окно теплушки. И с вокзала шла успокоенно, пока ие остановил плакат: наш солдат — в каске, в шинели — огромный, во весь лист, замахивается гранатой на фашистский танк. «А как же мой-то, худенький, совсем мальчонка, против такой громадины?» Так и не видела его в военном...

— Сынок,— промолвила старушка.— Сынок...

Ее подтолкнуло, увлекло потоком...

А эта не совсем еще старая. Волосы красит. Зачем? Все равно видно, что седые... Как снег весной — сверху уже пыльный, темный, а внизу еще белый. Распахнула пальто, как будто от Огня жарко... Вот это тюльпаны! Где она только выбрала такие? Сочные, красные, целая охапка... Кому эти цветы?

Андрей не мог знать, что она сейчас была далеко отсюда и виделся ей тот далекий довоенный день.

Почему они оказались за городом всем классом? В голубых сумерках сидели у костра и пели только что слетевшую с пластинки «Катюшу». И вдруг он первым заметил: «Смотрите, смотрите, воздушный шар!» Высоко в розоватом небе висел неподвижно круглый и светлый, как луна, рядом с настоящей луной, воздушный шар. И они побежали под ним, думали, что опустится. Потом шар исчез, и они очутились в сирени. В такой пахучей, что кружилась голова. И он нежно, руками, пахнущими сиренью, взял ее за плечи... А потом — это уже, кажется, предпоследний год войны. Да, предпоследний. Но тогда еще никто не знал, что предпоследний. В новеньких, золотых лейтенантских погонах он заехал из госпиталя всего на полсуток. И они пошли на новый фильм «В шесть часов вечера после войны». Там после победы все встречались на мосту возле Кремля. «Давай и мы,— сказал он.— В шесть часов вечера после войны, на этом мосту!..»

Кто этот, коренастый, в сером обвисшем пиджаке? Сдернул кепку, наклонился как-то странно, будто под одной брючиной не гнется нога. На протезе? Положил ветку черемухи. И еще что-то... Не то значок, не то медаль. А у самого два ордена Славы. Наверно, к товарищу... Может, из одного с ним взвода...

— Эх, ребята, ребята...

Андрей не видел того, что видел старый солдат, который вспомнил сейчас своих однополчан. Один из них, чернявый — не то татарин, не то узбек — свою пайку воды отдал, когда ранили. Старый солдат и сейчас слышал стук капели в дно котелка и ощущал во рту ржавый привкус воды — самодельный колодец выкопали. А второй — его лица уже не помнил — шапку свою подарил, когда выписывали из госпиталя. Самые морозы, а он в пилотке остался. Вот душа-человек! После и того и другого — одним снарядом...

И еще старый солдат вспоминал сейчас взрытую взрывами рассветную гладь Днепра и колючую проволоку по-над водой у смертоносного берега, за который надо было зацепиться хоть руками, хоть зубами...

— Эх, ребята, ребята...

Это кто же? Генерал? Без цветов. В сторонке остановился. Орденов — вся грудь как будто в кольчуге. Снял фуражку... Неужели плачет? Генерал! А он к кому? Вспоминает свои полки и дивизии?

Но генерал видел другое. Из десятков тысяч людей, которыми командовал во время войны, он вспомнил сейчас только одного солдата. Хотя, если посчитать на всем пути могилы да обелиски... Но сейчас он видел только его. Морозным декабрьским днем он встретился с ним на дороге — колонна солдат, заиндевевшая до бровей, будто колонна дедов морозов, шла вперевалку к исходному рубежу. Страшное предстояло сражение, страшное по неисчислимости техники с той и другой стороны. Мучимый сомнениями, он вылез из машины и пошел по обочине рядом с колонной. Он и сейчас слышал скрип снега под валенками. «Как вы считаете,— спросил он, пристроившись к солдату, который казался старше других,—они нас или мы их? У них столько техники...»

«Техники много,— шевельнулись белые дедморозовские усы.— Броня у них толстая, это точно. А вот кишка тонковата...»

Почему же запомнились эти дрогнувшие в усмешке, запушенные инеем усы? И веселое жвыканье снега? Впереди было еще три года войны... Но три года спустя, держа в мутных окулярах такие близкие, словно в трех шагах, уже обреченные колонны рейхстага, он вспомнил того солдата... Вряд ли он был жив, вряд ли... После того боя...

В багровый, дрожащий круг, теперь уже совсем резко очерченный возле Вечного Огня, будто к костру, разведенному в ночи, вступали все новые и новые люди.

«Сколько же родственников у Неизвестного? — подумал Андрей.— Нет... Сколько же Неизвестных, если так много у них родственников?» И новая догадка осенила его: этого солдата никто не видел, никто не знал убитым, значит, шли как бы к живому. Где же это он читал, что мертвые продолжают жить и не переходят в обитель окончательной смерти до тех пор, пока их не забудут живые?

Значит, с каждым из этих живых незримо подступал сейчас к Огню погибший. И если б нашелся чудотворный способ просветить души людей, оживить, поставить рядом тех, о ком они вспоминали, вглядываясь в беспокойное трепетание пламени...

Плечистый парень в выгоревшей на солнце фуражке с зеленым, пограничным околышем — это он выцарапал штыком на стене казармы в Брестской крепости: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20. VII. 41 г.» — о чем-то горячо, то и дело утирая закопченное лицо, рассказывал молоденькому, в висевшей на нем клочьями гимнастерке лейтенанту (его записку: «Погибну, но живым врагу не сдамся»,— нашли в патронной гильзе).

За ними, припадая на левую ногу, шел парень с очерненными копотью бровями и ресницами,— в одной руке болтался танкистский шлем, а другую он прижимал к груди, и было заметно, как сквозь пальцы просачивалась на комбинезон кровь — он сгорел в танке, и до сих пор над его могилой было написано безымянное слово: «Танкист». Танкист вытягивал голову, кого-то искал и, наверное, нашел, потому что, прихрамывая, подбежал к офицеру с золотыми птичками в голубых петлицах, обнял его и встряхнул, удивляясь: «Сема! Так тебя же сбили над Вязьмой!» — «Нет,— сказал Сема.— Тогда я успел выпрыгнуть. Я врезал свой «ястребок» в цистерны под Курском...» На их голоса обернулся моряк. Он был в тельняшке с закатанными рукавами, ленты бескозырки траурно шевельнулись за спиной; над тем местом, где, подбитый двумя торпедами, погрузился на дно морское их корабль, каждый год Девятого мая оставшиеся в живых опускали на волны венок...

В этой бесконечной, одетой в шинели, ватники, гимнастерки, бушлаты, полушубки, маскхалаты толпе можно было увидеть и сбившихся стайкой девушек в кофточках и платьях — их подпольную группу расстреляли за сутки до прихода наших войск; к ним протискивался мальчишка в отцовском, налезшем на глаза картузе — он был связным партизанского отряда; чуть в сторонке переговаривались трое рабочих в промасленных комбинезонах — их эшелон с эвакуированным заводом попал под бомбежку, и где-то в донецкой степи сровнялся с землей безымянный их холмик.

Нет. Андрей ничего этого не видел. Но ведь кто-то стоял, да, кто-то стоял рядом с ним, в трепещущем круге вечного пламени, и этого, невидимого Андрею, узнавали чьи-то глаза, жадно устремленные на Огонь.

В огнисто сияющий круг впорхнули по ступенькам, вбежали малыши. Самый смелый из них карапуз хотел привязать к венку зеленый шар, но не спра-

вился, упустил его, и шар запрыгал, едва не касаясь пламени. Лопнет или не лопнет? Но Огонь шара не тронул, поиграл-поиграл им и откатил в сторону, в угол мраморной ниши. Толпа опять расступилась, повернулась в сторону: от ворот шли к Огню новобрачные.

Она семенила легкая, облачная — в длинном белом платье, из-под которого резво мелькали туфли. Фата туманилась над лицом, придавая ему торжественную целомудренную бледность.

Он был в черном, с иголочки, костюме, напоминавшем фрак, и тщательно зачесанная, припомаженная шевелюра делала его похожим на тех красавцев, что изображают на одеколонных этикетках.

Невеста царственно прошла по проходу, учтиво образованному перед ней, остановилась возле Огня и поспешно положила цветы, как бы стесняясь всеобщего внимания. Он встал рядом, неловко замерев, как перед фотографом.

Андрей смотрел на невесту и не находил в ней того, что видел в остальных, столпившихся возле Огня. В ее подведенных тушью, с модной раскосинкой глазах не было ни печали, ни трудной думы, ни отрешенности. Ее глаза выражали сейчас только одно — счастье свадьбы. Выскочивший сзади, из толпы, долговязый парень в кожаной куртке вскинул киноаппарат и застрочил по новобрачным, то и дело выбирая нужный ракурс. Молодые ушли шумно и весело — за чугунной оградой их поджидало перевитое лентами такси с пучеглазой куклой на радиаторе.

«Где же Настя?» — опять вспомнил Андрей.

Очередь к Неизвестному не убывала, наоборот,— она выглядела бесконечной, и теперь словно вытекала из темноты, которая совсем уже сгустилась за чертой озаренного пламенем круга. Отблеск Огня ложился на лица, делая их похожими, как бы отлитыми из бронзы.

«Они, наверное, прошли... Конечно, прошли»,— с безнадежностью подумал Андрей и вдруг увидел Настю. Да, это была она. Заслоняясь ладонью от света, Настя остановилась, замешкалась, приглядываясь и не сразу его узнавая. Но вот в блестящих ее глазах отразилось внезапное удивление, она отступила в сторону, пропуская толпу, которая уже подталкивала, напирала сзади, и помахала рукой, пытаясь что-то сказать.

«Где Кузьмич?» — взглядом спросил Андрей. Наверное, она уловила его вопрос, Андрей понял это по ее лицу, сразу переменившемуся, выразившему неловкость, беспомощность и отчаяние.

— Его уже нет...— услышал Андрей обессиленно перелетевший через толпу Настин голос.— Его уже нет,— раздельно прошевелили ее губы, со вскриком на последнем слове.

Пламя вздрогнуло и приникло к звезде.

«Как же так? Когда? — не поверил Андрей.— Я же ничего не успел ему рассказать! Я же нашел «поющие деревья»... Не может быть!»

Увлекаемая водоворотом толпы, Настя взмахнула рукой — уже невозможно было устоять на месте — и растворилась в темноте.

Пламя струилось так ярко, что на него теперь больно было смотреть.

«А как же Николай?» — огорчился Андрей, и ему показалось, будто в порывах пламени обозначились черные глаза, закруглились брови-вопросики. Но багровые извивы перемешались, переплелись, и огонь опять стал огнем.

«Как же Николай и как же Кузьмич?» — с чувством непоправимого, внезапно коснувшегося горя, подумал Андрей, ясно вдруг осознав, что уже больше никогда не увидит старика, а тот уже никогда не простит ему пусть даже нечаянной обиды. Стало нестерпимо жарко, сдавило дыхание, словно все слезы, какие он сегодня видел, чужие, холодные для него слезы, накопились, закипели в нем и, жгучей волной окатив сердце, подступили к горлу, к глазам, чтобы немедленно выплеснуться. Чувствуя, что задыхается, что не сможет больше удержать в себе эту переворачивающую душу боль, он глухо кашлянул, не разжимая губ, переступил с ноги на ногу и оперся на карабин.

И в этот момент где-то за домами впереди и над Кремлевской стеной загромыхал гром. Зарница высветила полнеба, еще раз вспыхнула вдалеке. И в мерцающей, недосягаемой высокой глубине ослепительно-белыми, голубыми, красными, желтыми цветами начали распускаться невиданные деревья. Они жили там, в небе, всего каких-то несколько мгновений, успев за это время родиться, вырасти, покачать радужными, диковинными ветвями и умереть — сверху искристо осыпались и гасли, не долетев до земли, огненные листья.

Андрей посмотрел за ограду: по площади, из конца в конец рокотал, перекатывался людской океан. То в розовом, то в голубом переливчатом свете фейерверка лица виделись такими возбужденно радостными, такими счастливыми, словно война закончилась только сегодня, сейчас, и о победе было объявлено минуту назад.

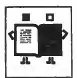
Огонь дышал ровно, успокоенно...

ОТ АВТОРА

Каждый раз, спускаясь по улице Горького на знаменитую площадь, я всматриваюсь в мелькающий за узорчатой чугунной оградой огонек и думаю о тех, кто придет к нему через каких-то полвека, когда в живых не останется ни одного участника Великой войны. Сейчас это трудно представить, но ведь будет такое — ни одного, пережившего войну! Даже в маршалы произведут генерала послевоенного года рождения.

Какими они придут сюда, люди грядущего, и что увидят в горячем, незатухающем пламени? Упадет ли на холодный мрамор хоть одна слеза, тронет ли, сожмет сердце еле заметная царапинка на солдатской каске? И кто встанет на священный пост, когда на всей земле останутся только роты почетного караула?

●



Ярослав **ГОЛОВАНОВ,**

Юлий **ГУСМАН**

КОНТАКТ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ХРОНИКА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

14 марта, пятница. Нью-Йорк.

За белым полицейским «доджем» с красной мигалкой на крыше по широкой бетонной автостраде мчится кавалькада длинных черных «кадиллаков». Высокий голос сирены достигает истерических нот, когда машины, вынырнув из синего, наполненного сладким дымом тоннеля, вынеслись к подножию главного здания ООН. Шесть молодых щеголеватых мужчин, привычно улыбнувшись объективам фотоаппаратов, быстро, перепрыгивая через ступеньки, поднимаются к небоскребу и входят в просторный холл, под высоким потолком которого летит наш первый спутник — старинный, еще 50-х годов, дар правительства СССР Организации Объединенных Наций.

Зал заседаний ООН полон. Журналисты с любопытством рассматривают шестерых, сидящих за отдельным столом. На них нацелились своими голубыми глазами кино- и телекамеры.

— Дамы и господа,— призвав к вниманию, открыл пресс-конференцию председательствующий.— Космическое сотрудничество двух великих держав — Советского Союза и Соединенных Штатов — сегодня приносит новые великолепные плоды. Уже недалек тот день, когда первая советско-американская экспедиция на Марс возьмет старт с орбитальной станции «Мир-4». Мне доставляет большую радость представить вам по поручению Академии наук СССР и Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США окончательно утвержденный вчера первый экипаж марсианской экспедиции. В него вошли прославленные герои космоса и видные ученые: начальник экспедиции и командир космического корабля «Гагарин», генерал-майор Александр Седов; командир десантного корабля «Мэйфлауэр» и руководитель группы высад-

Рисунки
Г. НОВОЖИЛОВА.

ки бригадный генерал Алан Редфорд; борт-инженер доктор Джон Стейнберг, лауреат премии Винера, который, конечно, известен вам как автор робота «Зоэ», способного «рождать» подобных себе роботов. Перед вами — заместитель директора института медико-биологических проблем космонавтики, доктор биологии Анзор Лежава; астрофизик, автор новой теории пульсаров, профессор Майкл Леннон-второй и, наконец, геолог экспедиции, профессор Ленинградского университета, доктор геолого-минералогических наук Юрий Раздолин. Закончив курс комплексных тренировок в США, экипаж завтра вылетает в Советский Союз для продолжения предстартовой подготовки и последующего отдыха... Нет сомнения,— продолжает председатель,— что сотрудничество государств в организации первой в мире межпланетной экспедиции явится великолепным доказательством торжества политики мира, направленной на благо всех народов Земли... Уважаемые дамы и господа! Подробности предстоящего полета хорошо известны из имеющихся у вас на руках материалов, так что предлагаю перейти к вопросам... Прошу вас, мистер Джексон, «Юнайтед Пресс Интернэйшнл»...

26 марта, среда. Москва.

Седов молча сидит на белой металлической вертящейся табуретке в кабинете старого своего приятеля терапевта Зорина и сосредоточенно смотрит в пол, вертя в руках линейку. В кабинете все выкрашено в ослепительно белый цвет. Профессор Зорин — консерватор, он никогда не прислушивался к рекомендациям психологов из института технической эстетики и всегда считал, что если белый «больничный» цвет сковывает робкого посетителя, то это к лучшему. В этой светлой, стерильной обстановке единственным темным пятном был космонавт.

— У меня новости неважные, Александр Матвеевич,— говорит Зорин, перебирая бумаги на столе.— Кое-что в твоих анализах кое-кого смущает...

— «Кое-что», «кое-кого»!..— взрывается Седов.— Вам всем просто покоя не дает, что мне уже не двадцать, а я все еще летаю, нарушая тем самым ваши вековечные инструкции, рекомендации, всякие там ваши диссертации...

— Я не желаю говорить с тобой в таком тоне,— резко перебивает Зорин. Опять длинная пауза.— Пойми наконец,— спокойно, почти ласково продолжает врач,— что никто из нас, увы, не становится с годами здоровее.

— Запомни, Андрей Леонидович,— со вздохом говорит Седов,— у меня здоровья хватит еще на десять, а может, и на двадцать медкомиссий.

— Я тоже верю в это. Но это пока твои и мои субъективные ощущения, а вот объективные результаты исследований.— Он поднимает со стола листки.— И если оснований для паники — даю тебе честное слово — пока никаких нет, все же еще раз помучить тебя мы обязаны. Понимаешь, обязаны, и все тут. Трехлетний полет к Марсу — это не двухнедельная прогулка на Луну. А с такими бумажками комиссия тебя зарубит...

Седов сжимает линейку так, что белеют суставы пальцев.

— Твоя комиссия да и ты сам всегда верили анализам мочи и кардиограммам больше, чем живым людям. Врач обязан быть психологом, провидцем, гипнотизером, черт возьми, а вы превратились в операторов электронных машин! Как бы вы были счастливы, если бы я только сидел в президиумах торжественных собраний или писал мемуары! Я хочу работать, понимаешь, ра-бо-тать, а не занимать хорошо оплачиваемые и никому не нужные, специально «за заслуги» придуманные штатные единицы, ясно? А здоров я, как бык!

— Что дозволено Юпитеру, того нельзя быку,— улыбается Зорин.— Ты, Саша, в свои сорок пять успел предостаточно, не тебе говорить... Но забрать тебя недельки на две, повторяю, мы обязаны. Тренировки вы завершили, а кататься с американцами по стране и без тебя смогут. Только здоровье сохранишь. Знаю я грузинское гостеприимство, целее будешь... В общем, сворачивай свои дела...

— Легко сказать,— ворчит Седов.— Я еще должен съездить в деревню к матери...

— Вот к матери съезди,— встрепенулся Зорин.— Молочка попей, погуляй...

Седов вздыхает. Табуретка под ним скрипит.

Зал оперативного руководства ИКИАНа (Института космических исследований Академии наук СССР). Три ряда столов-пультов — те, что позади, чуть выше передних — развернулись широкой дугой против стены с многочисленными экранами и световыми табло. Сейчас начнется обычная «летучка» — оперативное совещание всех советских и американских служб, ответственных за подготовку экспедиции на Марс. Работа довольно нудная, монотонная, романтику в которой могут отыскать разве что зелененькие выпускники факультета журналистики. Со скучным сонным лицом входит в зал академик Илья Ильич Зуев. Здоровается за руку с генерал-полковником Викентием Кирилловичем Самариным, кивает космонавтам и операторам, сидящим за столами-пультами, на которых укреплены таблички: «Дежурный баллистик», «Дежурный СЖО» (система жизнеобеспечения), «Дежурный МБК» (медико-биологический контроль), «НАСА», «Байконур», «Канаверал», «Служба Солнца», «МИР-4». Зуев лениво снимает пиджак, вешает на спинку кресла. Девушка в белом передничке ставит перед ним чашку черного кофе.

— Спасибо.— Прихлебнул кофе, искоса посмотрел на большое светящееся табло точного времени над экранами: 8.59. Говорит громко, всему залу: — Начинаем, товарищи! Слушаем Хьюстон...

Вспыхнул большой экран, на котором, словно в зеркале, отразился такой же зал, только таблички были уже английские, а вместо Зуева сидел Майкл Кэтуэй — руководитель американской части программы.

— Доброе утро, мистер Кэтуэй,— весело говорит Зуев.— Просим подтверждения старта транспортного корабля «ШАТТЛ-47».

— Отрыв от старта — 19.41.05 мирового времени. У нас все в порядке.

— О'кей! — говорит Зуев.— Просим подтверждение «МИР-4».

На другом экране вспыхивает новое изображение: два человека в легких спортивных костюмах в командном пункте долговременной орбитальной станции «МИР-4».

— Говорит «МИР-4». Старт 19.41.05 принят. Маяки начинают работать в режиме сближения по докладу с борта. «ШАТТЛу-47» дается третий причал, как просили.

— Принято,— говорит Кэтуэй.— Прошу запасной радиоканал.

— Минуточку,— отвечает станция. Один из сидящих за пультом вдруг всплывает, летит к потолку, возвращается с бортовым журналом.— Ваш запасной канал с 112,34 до 112,73.

— Вопросы к Хьюстону? — спрашивает Зуев.

— Вопрос доктору Райту,— говорит по-английски Леннон, сидящий за пультом «Связь с экипажем». И на экране возникает новое лицо· Райт — конструктор систем ориентации «Мэйфлауэра».

— Хэлло, Микки! Мне нужны расчеты эрозии оптических поверхностей фотоумножителей от испарения в вакууме,— говорит Леннон.

— Получите сегодня после ужина,— отвечает Райт.

— А раньше нельзя?

— После нашего ужина,— улыбается Райт,— а у вас это будет после завтрака.

— О'кей!

— Слушаем службу Солнца,— громко перебивает Зуев.

— Крым на связи,— загорается экран.

Красивая загорелая женщина, заглядывая в бумажку, говорит тоном учительницы начальных классов:

— Мы уже докладывали ночью, повторяем для всех: по хромосферным вспышкам в открытом космосе работы для «Гагарина» закрываются с 11 до 14 часов. Прогноз на ближайшие сутки...

Прерывая эти слова, в динамиках нарастает какой-то резкий свист, быстро переходящий в громкое гудение. Изображения на экранах искажаются, будто кто-то, сидящий по ту сторону экранов, яростно мнет руками картинку. Это длится всего несколько секунд, и вот все снова на своих местах.

— В чем дело? Кто дежурит по связи? — раздраженно кричит Зуев.

У пульта «Дежурный по связи» молодой инженер, растерянный и смущенный, запинаясь, бормочет:

— У нас все в порядке, Илья Ильич... Амплитуда...

— Это называется — в порядке?! Меня не интересуют амплитуды. Мы с Крымом не можем связаться нормально, а собираемся с Марсом говорить! Сколько это будет продолжаться, я вас спрашиваю?

— Илья Ильич,— начинает инженер, но Зуев тут же перебивает его:

— Что за помехи? Откуда помехи? Кто нам мешает? Надо найти и наказать примерно!

— Очевидно, это помехи ионосферного происхождения...

— Молодой человек, я этими делами занимаюсь без малого сорок лет,— Зуев в сердцах бросает на пульт белые наушники,— почему-то раньше ионосфера не мешала. Я потребую создания специальной комиссии. Пора кончать с этим делом! У нас нет элементарной дисциплины и культуры работы!

— Не поняла? — спрашивает красивая дежурная Крымской службы Солнца.

— Это к вам не относится...

Кэтуэй холодно спрашивает с экрана по-русски, с сильным акцентом:

— Мистер Зуев, когда ваша служба давала солнечный прогноз, у нас прошел сбой связи. Что это значит?

— У нас тоже прошел сбой, но что это значит, я еще не знаю. Мы разберемся и объясним...

— Но это становится регулярным...

— Простите, но я могу предъявить точно такие же претензии Хьюстону.

— В Хьюстоне все о'кей...

— И у нас тоже о'кей. Я повторяю: мы разберемся. Итак, на чем мы остановились? Прогноз на ближайшие сутки. Слушаем Крым.

— Прогноз на ближайшие сутки в норме. Ожидаемая доза от ПКИ [1] до 11 миллиардов в сутки,— так же назидательно говорит загорелая дежурная.

— У вас все? — спрашивает Зуев.

— Все.

— Тогда подготовьте мне сводку по активности Солнца на время нашего с вами сеанса. А то тут у нас собственную халтуру валят на ионосферу.— Он зло косится на молодого инженера за пультом дежурного по связи.— «Гагарин» знает о запрете по хромосферным вспышкам? — спрашивает Зуев и оборачивается к одному из темных экранов.

Молчание.

— Я вызываю «Гагарин»,— нетерпеливо говорит Зуев.

— Проспали сеанс на «Гагарине»,— тихо шепчет Лежаве Раздолин.

Космонавты, кроме дежурного по связи Леннона, сидят на «гостевых» креслах, куда обычно сажают большое начальство, которое любит бывать здесь, особенно если существует полная гарантия успеха какого-либо космического эксперимента.

— Я вызываю «Гагарин»,— раздельно и громко говорит Зуев, нетерпеливо постукивая по пульту авторучкой.

Экран вспыхивает:

— Простите, Илья Ильич! Тут у нас...

— Что у вас? Да что это, в самом деле, сплошные сюрпризы сегодня! Тоже «амплитуды»?

— Да нет, ничего, пустяки,— на экране смущенно улыбается космонавт-испытатель.

— Запрет по Солнцу вы приняли?

— Да. У нас и нет никаких наружных работ. Все испытания корабля идут по штатной программе. Проверка аварийной системы связи закончена сегодня в 6.35, замечаний нет.— И добавляет неофициальным тоном: — У нас, правда, все в порядке, Илья Ильич...— но, говоря это, он смотрит куда-то в сторону.

— Что у вас все-таки там происходит? — недовольно спрашивает Зуев.

— Тут вентилятор батарейный взбесился. Летает, мы его поймать не можем...

— Сачком! Сачком его! — кричит Раздолин.

— Каким сачком? — оторопело спрашивает человек с экрана.

— Для бабочек.

Все смеются.

— Почему Саши так долго нет? — спрашивает Редфорд, наклонившись к Лежаве.

— Ты что, медиков не знаешь? Наши ничуть не лучше ваших,— отвечает Анзор.

Вновь загорается экран Крымской службы Солнца, и та же хорошенькая, загорелая женщина таким же «педагогическим» тоном докладывает:

— По данным системы «Дозор», сбоев связи по вине Солнца на время сеанса быть не может.

— Так,— говорит Зуев.— Спасибо. Будем искать. И найду! — Он припечатывает кулаком пульт. Пустая чашечка со следами кофейной гущи тихо звякает...

20 мая, вторник. Подмосковье.

В рабочей комнате «марсианского корпуса» Космического центра за столами, заваленными графиками и бортжурналами, Редфорд и Леннон. Входит Стейнберг, явно чем-то озабоченный, что не мешает ему, впрочем, жевать резинку.

— Нам надо посоветоваться, ребята,— хмуро говорит он, подойдя к столу Алана.

— Сейчас? — Редфорд поднимает голову.

— Лучше сейчас...

Леннон встает из-за своего стола, медленно подходит.

[1] ПКИ — первичное космическое излучение.

— Ты чем-то взволнован, Джон? — спрашивает он Стейнберга.

— Не совсем так.— Стейнберг выплевывает жвачку в руку, а потом приклеивает к пульту.— Со мной говорили наши ребята из службы безопасности и просили разузнать тут кое о чем.

— О чем, например? — спрашивает Редфорд.

— Например, о том, что эа штуки делают русские со связью.

— А что они делают со связью? — не глядя на Стейнберга, спрашивает Леннон.

— В последнее время они регулярно глушат связь Хьюстона, идут сбои всей нашей телеметрии, сильные помехи даже на самых коротких волнах, искажение и полная потеря видеоканала. Сначала русские делали вид, что виновато Солнце, валили все на ионосферу, но ведь наивно думать, что все это нельзя проверить. Наши в Хьюстоне проверили, оказалось, что все это «липа». Очевидно, это они глушат нас, глушат даже систему противоракетной обороны. А это, как вы понимаете, уже не шутки...

— Но как можно предполагать, что они делают это со злым умыслом, если они и себя тоже глушат? — спрашивает Редфорд.

— Ну, это может делаться для отвода глаз...— Стейнберг неопределенно покрутил пальцами в воздухе.— Одно дело, когда ты знаешь, что сбой будет, и готов к нему, другое, когда это полная неожиданность...

— Послушай, Алан,— вступает в разговор Леннон,— даже если это не злой умысел, если они искренне не могут разобраться в этих помехах на Земле, то что мы будем делать на траектории?

— Я думаю о другом,— добавляет Стейнберг.— Что мы будем делать на траектории, если здесь, на Земле, русские действительно что-то темнят...

— Как тебе не стыдно, Джон! — резко оборачивается Редфорд.

— А почему я должен верить?! — взрывается Стейнберг.— Ты демократ-идеалист! Ты, разумеется, веришь всем этим договорам, протоколам, актам, всем этим бумажкам. А знаешь, как это все у русских называется? «Филькина грамота»!

— Что это? — спрашивает Редфорд.

— Trickery,— невозмутимо переводит Леннон.

— Они просили, чтобы мы здесь разузнали, что это за сбои и почему русские крутят,— уже тихо, примирительно сказал Стейнберг.

— Я бригадный генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов,— глухо, но твердо ответил Редфорд.— Я четыре раза летал в космос и просто не успел выучиться на шпиона. Передай твоим ребятам, что для выполнения этого поручения у меня не хватает образования...

— Ну, Алан, причем здесь шпионаж? — смутившись, спрашивает Стейнберг.

— А что тогда означает «разузнать»?

— Ну просто, может быть, заговорить на эту тему, посмотреть, как они прореагируют,— поясняет Леннон.

Редфорд задумался. Резко встал.

— Согласен. Пошли.

В огромном здании МИКа — монтажно-испытательного корпуса,— под сводами которого всегда гуляет эхо голосов, стоит марсианский корабль «Гагарин» — точная копия того, испытания которого заканчиваются сейчас у причала орбитальной станции «МИР-4».

Сооружение это, по размерам своим близкое к морскому теплоходу, по внешнему облику не похоже ни на что, известное нам. Собранный на орбите, «Гагарин» будет летать только в пустоте космоса, поэтому у его конструкторов не было необходимости думать о том, чтобы отсеки корабля размещались компактно, а его формы были обтекаемы. Вакуум и невесомость создали новый инженерно-конструкторский стиль, породили невозможную на Земле межпланетную архитектуру, в которой впервые не спорили рационализм и свобода решений.

Корабль стоит в переплетении кабелей, проводов, в окружении пультов, приборов, в центре того лабораторного хаоса, в котором есть высокий порядок и строгая логика и который представляется хаосом лишь непосвященному.

Возле корабля у переносного пульта на круглом вертящемся табурете сидит Лежава с большой папкой документов в руках. Он что-то перекладывает, перетасовывает, вытаскивает скрепки, перекалывает. Рядом копошатся в бумагах Седов и Раздолин. В расписании занятий вся эта канцелярия значилась как «работа с документацией», но сейчас, когда неожиданно явившиеся американцы затеяли этот разговор о радиосбоях, все оставили, разумеется, свои дела. Претензии американцев были совершенно неожиданны, и Раздолин поначалу даже растерялся:

— Я геолог и ни черта в этом не понимаю...

— Я тоже не специалист по связи, но не надо быть специалистом, чтобы понять, когда тебя дурачат,— резко бросил Стейнберг.

— Наверное, мы зря затеяли этот разговор,— примирительно стал замазывать его слова Леннон.

— Да как ты мог так думать! — Лежава налетает на Стейнберга со всем своим грузинским темпераментом.— Это мы тебя дурачим?!

— Тихо! Тихо! — обрывает Седов.—Алан, я благодарен тебе за этот разговор. И я хотел бы, чтобы в будущем все неясности между нами решались так же: гласно и открыто. Я действительно не знаю, что происходит со связью, даю тебе слово. Я думаю, надо спросить у Зуева.

Он оглянулся на друзей. Анзор энергично кивнул.

— Пошли,— сказал Раздолин.

Американцы не ждали решения столь стремительного.

— Но сможет ли он нас принять? — протянул нараспев Леннон.

— Думаю, что сможет,— сказал Седов.

Они шли по длинным коридорам ракетного Центра, мимо дверей с белыми матовыми стеклами, за которыми работали сотни людей — чертили, считали, думали, спорили,— работали для них, этих шестерых, думали и беспокоились о них, хотя многие люди за этими дверьми и не видели их никогда: не до любопытства — дела срочные.

На минуту Редфорд задержался у автомата с газированной водой, достал монету и все искал, куда ее опустить; Седов нажал кнопку, и вода пошла в алюминиевую кружку безо всякой монеты. Редфорд взял кружку, оказалось — она «прикована» к автомату тоненькой цепочкой. «Да, понять русских иногда действительно трудно»,— думает Редфорд, опрокидывая звякнувшую цепочкой кружку на мойку автомата.

Вот наконец и приемная Зуева. Только что закончилось очередное техническое совещание, и, как всегда после любого совещания, нашлись люди, искренне негодующие и недоумевающие, так и безусловно довольные итогами обсуждения. Космонавты, войдя в приемную, пробираются к дверям кабинета сквозь сизую голубизну отчаянно прокуренного пространства, в котором роятся группки людей и со всех сторон слышатся горячие голоса:

2000
1000

— Я был уверен, что Илья Ильич нас поддержит, потому что только слепой не видит, что 83-й блок не работает при крене более восьми градусов...

— А что вы возмущаетесь? — это уж другая группа.— Зуев прав. Мы с вами остаемся здесь, в тени лопухов, а им два года летать...

— Успеет Валерий Петрович или не успеет — это не тема для дискуссий. Его заставят успеть...

— Пусть я ничего не понимаю в технологии, это не моя система, но почему нельзя было предусмотреть все заранее? Почему американцы ничего не переделывают?!

— Переделывают,— бросает, проходя мимо, Редфорд,— очень часто переделывают.

— Не думаю,— не оборачиваясь на его слова, бросает возмущенный спорщик.

— Вы не думаете, а я американец, я знаю,— отвечает командир «Мэйфлауэра».

Шесть космонавтов входят в дверь с маленькой табличкой: «Академик И. И. Зуев».

Кабинет Зуева — типичный кабинет крупного конструктора высшего административного ранга. Письменный стол с пультом. Маленькая доска с мелками и губкой. Деревянные панели для развешивания чертежей. Большой стол для заседаний, аккуратные никелированные гирьки, которыми прижимают к столу листы ватмана. Глобусы Земли, Луны и Марса. Макет межпланетного корабля «Гагарин» и — подарок американцев — макет посадочного корабля «Мэйфлауэр». На стенах два портрета — Циолковский и Королев.

Зуев — за письменным столом. В кресле рядом — Седов. Леннон присел на подлокотник соседнего кресла. Раздолин рассеянно крутит марсианский глобус. Редфорд, скрестив руки на груди, стоит у окна. Лежава бесшумно прохаживается по ковровой дорожке, сцепив за спиной пальцы. Стейнберг один в позе прилежного ученика сидит за большим столом для заседаний.

Все молчат. Зуев снимает очки, трет глаза, снова ловко забрасывает очки на переносицу и говорит, обращаясь к одному Седову:

— А, в общем, они правы. Мы действительно темним...

Космонавты никак не ожидали такого ответа и сидят молча, не спуская глаз с Зуева: «Что дальше будет?»

Академик снова садится за стол и, оглядывая теперь уже всех, говорит:

— Да, темним. Темним, потому что стыдно правду сказать. Всего я ожидал в этом проекте, ведь действительно масса чертовски сложных вещей, но чтобы запутаться в связи! Элементарщина! Мы затравили астрономов, институт атмосферы, три комиссии радистов работают, мы консультировались с Министерством обороны, и никто ничего не может толком объяснить...

— Но этого не может быть,— пожимает плечами Леннон.

— Вот именно! — восклицает Зуев.

— Я не верю в потусторонние силы, мистер Зуев,— с иронией говорит Стейнберг,— но я не хотел бы участвовать в экспедиции, связь с которой не зависит от нашего Центра управления в Хьюстоне.

Зуев смотрит прямо в глаза Стейнбергу и говорит:

— Я понимаю вас и не настаиваю.

Долгая пауза.

— Я предполагал беседовать с людьми, искренно старающимися понять мою озабоченность,— продолжает Зуев.— Я не хотел беседовать с вами на эту тему до того, как мы разберемся в случившемся. Это вопрос научно-технического престижа. Но коли разговор состоялся...

— Послушай, Алан,— оборачивается Седов к Редфорду,— тебе не кажется, что мы не о том говорим?

— Пожалуй,— отзывается Редфорд.

— Можно сегодня сказать хотя бы, где находится источник помех? — спрашивает Седов у Зуева.

— Прекрати скрипеть,— зло шепчет Лежава Раздолину, и тот перестает вращать марсианский глобус.

— Источник атмосферный, или, точнее, даже заатмосферный, весьма мощный, апериодический, с размытым диапазоном частот...

— Может быть, это какой-нибудь пульсар? — спрашивает Раздолин рассеянно.

Леннон невесело смеется: уж в чем-чем, а в пульсарах он разбирается.

Редфорд резко поворачивается к нему и зло говорит по-английски:

— Хватит, Майкл!

Потом подходит к столу Зуева:

— Нам бы не хотелось, чтобы вам... у вас... Остался, как это?..— чувствуется, что он волнуется и забывает русские слова.— Не остался... mud... как это? — спасительно смотрит на Раздолина.

— Осадок,— догадался Раздолин и тут же подсказывает: — We would not like you to have unpleasant memories [1]...

— Да, да,— кивает Редфорд.

— Хорошо,— отвечает Зуев без улыбки.

— Если что-нибудь выяснится, сообщите нам,— говорит Леннон.

— Об этом мы уже утром договорились с Кэтуэем. Я бы хотел сделать это как можно раньше...

12 июня, четверг. Деревня Калитино.

Вдоль прозрачного леса, вдоль полей и лугов бежит проселочная дорога, которую только на автомобильных картах называют «шоссе». В запыленном газике рядом с шофером, молодым вихрастым парнем в ковбойке, сидит, прислонившись к металлической стойке, Седов. Глаза у него прикрыты, то ли он зажмурил их от солнца, то ли задремал, утомленный дорогой...

Раннее утро в деревне. С низин, за околицей, еле ползет туман, но солнце уже выглянуло из-за острых синих верхушек елового леса. Седов выбежал из избы голый по пояс, в закатанных до колен спортивных брюках. Он облился из ведра колодезной водой, передернулся, небрежно растерся стареньким «вафельным» полотенчиком и, осторожно ступая белыми, нежными, «городскими» босыми ногами по еще мокрой от росы траве, подошел к сараю, взял старую косу и, выйдя на лужайку за домом, начал косить.

...Возле костра стояла расседланная лошадь. Отблески пламени падали на нее, на Седова, на ребят, пригнавших коней в ночное и теперь тихо сидевших вокруг огня, ожидая, пока подоспеет печеная картошка, и с любопытством косясь на молчаливого космонавта. Лиц почти не было видно, огонь не высвечивал, а прятал черты, то совсем стирая тени, то сгущая их до трагических масок. Раскапывали угли, прутиком подкатывая к себе горячие картофелины. Седову не терпелось попробовать картошку, и он, попеременно дуя на обож-

[1] — Мы бы не хотели, чтобы у вас остались неприятные воспоминания... (англ.)

женные пальцы, отдирал пепельную корочку, не дожидаясь, пока она остынет.

...Седов нырнул в теплую, не остывшую чернильную воду и проскользнул почти по дну, затаив дыхание в кромешной, абсолютной темноте...

— Товарищ генерал, приехали,— шофер осторожно тронул за плечо задремавшего Седова.

У околицы стояла невысокая фанерная арка, которую местный художник, видимо, скопировал с парижской «Триумфальной». Во всю длину арки тянулась кумачовая надпись: «Добро пожаловать, наш дорогой земляк, герой космоса т. Седов Александр Матвеевич!»

Под аркой уже собралось все районное и колхозное начальство, тут же, переминаясь от нетерпения, томились музыканты самодеятельного оркестрика под управлением Любови Тимофеевны — завклубом. Вот она подняла руку, энергично кивнула, и оркестр заиграл что-то торжественное.

Горестно вздохнув, Седов вышел из машины. К нему подошли нарядные девушки с хлебом и солью. Пионеры вручили космонавту цветы. Товарищ из райкома начал речь. А Седов искал глазами мать. Она была в новой кофте, которую он купил ей в Сан-Пауло, и в белоснежном платке...

И вот он уже сидит за длинным столом, уставленным напитками и закуской, и товарищ с красным лицом произносит тост, а Седов почти не слышит его, потому что вокруг него хлопочут и разговаривают незнакомые люди, и Седову вдруг стало очень скучно, и с тоской посмотрел он в дальний конец стола, где сидели его друзья, родные, старенькая учительница Надежда Ивановна...

Александр Матвеевич обедает вместе с матерью и двумя племянниками. В углу комнаты светится голубой экран телевизора. Идет детская передача, и племянники не знают, куда смотреть: на экран или на дядю.

— Забыла тебе сказать, Шура,— говорит мать, подкладывая квашеную капусту в тарелку сына.— Утром, когда ты спал, к тебе пионеры приходили. Я им сказала, чтобы после обеда зашли. Фотографии твои они уж давно перетаскали, так теперь им, видишь, живого подавай!

— К пионерам сходить можно,— кивнул Седов,— они хоть пить не заставляют...

Неожиданно изображение на экране пошло полосами и исчезло, раздался оглушительный и высокий по тону рев. Седов быстро подошел к телевизору, убрал звук. Через несколько секунд так же неожиданно изображение восстановилось.

— Не могут, черти, никак наладить,— вздохнула мать.— Каждый божий день вот так орет, словно чумовой. Иногда, поверишь, так рявкает, прямо из рук все валится. Любаша из клуба в район звонила, жаловалась, а они говорят: знаем, знаем, скоро исправим... У вас в Москве, поди, такого безобразия на телевизоре нету...

— Ехать мне надо, мама,— тихо сказал Седов.

1 августа, пятница. Тбилиси.

Дом Анзора Вахтанговича Лежавы стоит у подножия Мтацминды. Большая квартира с застекленной террасой выходит на гору, в кудрявой зелени которой прячется просторный, бестолковый и суетливый ресторан, куда Анзор категорически отказался вести своих гостей, убедив в том, что настоящий грузинский стол можно сделать только дома.

Несколько мужчин, друзей Анзора, толпятся вокруг большого, красиво накрытого стола, в то время как его жена и сестра Лия следят на кухне за бараньей ногой, шашлыками и табака, доделывая те самые дела, на которые даже у очень хороших хозяек всегда не хватает все-таки двадцати, ну, пусть, пятнадцати минут.

Три девочки — мал-мала меньше — дочки Анзора, принаряженные по случаю прихода гостей, сидят тихонько в уголке, уставшие от трехдневных репетиций книксенов и окончательно запуганные всеми предупреждениями матери и тетки касательно правил хорошего тона.

Наконец звонок в дверь. Космонавты — вся пятерка — вваливаются в квартиру и после неизбежной сутолоки и уговоров рассаживаются наконец за столом.

Анзор тихо предупреждает по-английски, что если какой-либо из тостов, произнесенных тамадой, можно будет пропустить, он подаст знак, положив на бокал палец.

Начинается грузинское застолье. Тамада говорит долго и красиво. После каждого тоста гости незаметно смотрят на Лежаву, но Анзор ни разу не подает им условного знака. Он лишь смущенно пожимает плечами под их вопросительными взглядами. Стейнберг, осушив бокал с вином, ставит шариковой ручкой «галочку» на белой бумажной салфетке. Уже взлетела целая стая таких «галочек».

За столом очень весело, и тамаде с большим трудом удается заставить слушать себя.

— Пока мы здесь развлекаемся,— говорит он,— наш друг и товарищ Александр Матвеевич Седов мучается в руках медиков. Нам горько, что с нами нет этого замечательного человека. Я предлагаю тост за его здоровье, за то, чтобы он выдержал все испытания на Земле и все перегрузки в космосе!

Редфорд встает с бокалом. Вслед за ним встают все.

— Я уже заметил,— говорит Редфорд,— что в Грузии есть обычай дополнять тосты. Я хочу сказать о Саше. Я рад, что встретил этого человека. И я очень хочу работать с ним вместе...

Ночь в квартире Лежавы. В спальне, на диване в гостиной, в кабинете отца, на широкой тахте веранды спят гости, которых Анзор не пустил в гостиницу.

Лия с женой Анзора тихо, стараясь не звякать посудой, убирают со стола. Захмелевший Анзор пытается помогать, но больше мешает; его уговаривают ложиться, но он говорит, что будет ждать отца, которого еще не видел и с которым ему «необходимо выпить совсем немного вина». Отец Анзора — сменный мастер прокатного цеха на металлургическом заводе. Наконец внизу, под террасой, тихо цокает дверца «Жигулей», и в комнату входит Вахтанг Георгиевич. Он целует сына, умывается, потом тихонько, оглядываясь на двери, за которыми спят гости, подсаживается к разоренному столу, наливает вино.

— Ну, рассказывай, какие новости, космонавт...

— Тс! Тихо, они только заснули,— отвечает Анзор.

Весь их дальнейший разговор происходит шепотом.

— Даже не знаю, с чего начать,— шепчет Анзор.— Еще до приезда американцев было принято решение по биологической программе. Когда я выступал в ОКБ, сначала поднялся страшный крик,

ведь всех интересуют сегодня радиосбои и никому до биологии дела нет, но Зуев всех быстро успокоил и полностью меня поддержал. Я же им все подсчитал, и Зуев говорит: «Лежаве нужно 7 миллионов, и мы должны деньги эти ему дать. Потому что надо...».

— Сколько? — переспросил отец.

— Семь миллионов. Да. Заплатим, говорит, раз нужно.

— А ты убежден, что нужно?

— Убежден. Один анализатор фотосинтеза стоит...

— Погоди. Ты представляешь, что такое 7 миллионов?

— Представляю. Я же объясняю тебе: анализатор...

— Нет, не представляешь! — Вахтанг Георгиевич повысил голос, Анзор замахал на него руками, и тот опять зашептал: — Вас, молодых, избаловал, нет, развратил социализм. Да, да, именно развратил! Своих денег у вас не было и нет, и считать вы их, понятно, не научились. А народные для вас — тьфу, трава, бумажки! Миллион, миллиард! Вы умеете произносить эти числа и не содрогаться. А при слове «тысяча» порядочный человек обязан содрогаться.

— Почему «содрогаться»?! Пусть жулик содрогается. Что я их краду?

— Нет, вы их не крадете. Хуже: вы их не чувствуете. Вот ваши коллеги,— он кивает в темноту комнат, где спят американцы,— они чувствуют потрохами каждый доллар. «7 миллионов!»

— Но, папа, это большая программа. Анализаторы жизнедеятельности, экология, ряд вопросов по охране внешней среды...

— Не спекулируй своей средой! Не смей спекулировать! Я читал в журнале недавно: в Германии еще в 18-м веке спекулянты, как ты, утверждали, что фабричная труба всех удушит. Я не спорю, нужны и фильтры, и в Куру спускать всякую гадость, конечно, безобразие. Но 7 миллионов! На эти деньги можно построить еще один прокатный стан!

— Отец, мне стыдно тебя слушать, ты государственный человек, депутат... Какой стан? О чем ты?

— Да, я именно государственный человек! Я рассуждаю как государственный человек! Я получаю за 7 миллионов стан тонкой прокатки и катаю жесть. Из этой жести делают банки. В банки кладут соки, варенье, фрукты, мясо, молоко.— Он яростно жестикулирует, руками хватая разные кушанья со стола.— И ты знаешь, что банок этих не хватает, что у нас и в Азербайджане гниют оливки, а на Украине яблоки уже поросята не едят. Я металлург, с меня за оливки не спросят, но я коммунист, и я понимаю, что глупо покупать за границей масло и гноить свои оливки. Вот зачем мне 7 миллионов!

— Я понимаю. Ты сказал правду. И искренне сказал, но эта твоя правда — маленькая. Стране нужна бумага, говорили такие, как ты. Детям нужны буквари, студентам не хватает учебников. И сводили леса на бумагу. Дети читали «Бе-ре-за» — а ее не было. Студенты защищали проекты по борьбе с эрозией почв и не знали, что эрозия вызвана их учебниками. Неумело перегораживали реки, чтобы получить электроэнергию,—и губили рыбу; осушали болота — и ломали весь естественный водный баланс. Ты думаешь, делали все это со зла? Не считали? Не аргументировали вроде тебя? Мы занимались арифметикой, когда говорили о природе, а теперь поняли, что это даже не алгебра, а сложнейшая высшая математика!

— Отцы всегда в дураках...

— Не в дураках. Ты хочешь сохранить сегодня оливки, которые падают на землю, а я хочу, чтобы они и завтра продолжали расти на деревьях! Ты боишься, что не весь урожай соберут, а мне нужны 7 миллионов, чтобы вообще он мог появиться, этот урожай. И я тоже коммунист, и я по-своему скажу: коммунизма не будет, пока мы не научимся заглядывать не только в завтра, но и в послезавтра!

Редфорда разбудил их громкий шепот, и он внимательно прислушивается к спору отца и сына. Они говорили по-русски.

— Отец, ты не хуже меня знаешь, что никто мне для пустяков миллионы не даст,— шепчет Анзор.— Я каждую копейку из этих миллионов расписал, каждый окуляр со всех сторон аргументировал...

— Я ваши аргументы знаю. Ты человек честный, но увлеченный. Ты не объективный, ты увлеченный человек, ты такого наговоришь...

— Папа! Пойми, чем лучше человек знает, тем больше он **может!** Вот зажигалка. Первобытные люди использовали кремень для того, чтобы делать топоры и ножи. Потом с его помощью добывали огонь. Теперь тот же кремень в качестве полупроводника используется в компьютере. Космонавтика уже сегодня служит и геологам, и метеорологам, и рыбакам, и еще, черт возьми, тысячам земных профессий!

Анзор кричал, и гости его давно уже проснулись. Один Стейнберг спал как убитый, зажав в кулаке белую бумажную салфетку с «галочками».

— А вспомни, что ты сам говорил,— наступал сын,— вспомни, как вы в Куре с дедом купались, ловили форель, фазанов стреляли под Тифлисом. Меня Медейка спрашивает: «Папа, а ты видел дятла? Мне очень хочется увидеть дятла...» А ты — стан, банки консервные...

— И все-таки без банок и дятел не в радость,— качает головой отец.— Если у Медейки не будет банок, ей не захочется смотреть на дятла.

Лия, появившаяся в дверях, слышит эту последнюю фразу и говорит:

— Ненормальные люди. Какие банки? Какие дятлы? Семь часов. Ложитесь, поспите хоть часа два. Я иду на базар. Дом пуст, чем я буду кормить американцев, когда они проснутся?

Голос за дверью:

— Американцы проснулись.

Дверь тихо открывается, и выходит Редфорд. Он в джинсах и яркой летней рубашке с короткими рукавами.

Почтительно знакомится с Вахтангом Георгиевичем и говорит задумчиво:

— Извините, я слышал ваш разговор... Не в том дело, кто из вас прав. Как ни странно, но это неважно...

8 августа, пятница. Тбилиси.

Через зал ожидания тбилисского аэропорта тесной группкой под предводительством Анзора пробираются космонавты. Лежава пропускает всех в дверь с табличкой «Комната для депутатов Верховного Совета». Ковры, мягкая мебель, работает цветной телевизор, небольшой стол с фруктами и вином и три официантки в накрахмаленных передниках и кокошниках.

Лежава разливает в бокалы белое вино.

— Опять? — с тревогой спрашивает Стейнберг, кивая на бокалы, и достает шариковую авторучку.

— Закон предков,— строго говорит сопровождающий их важный грузин.— Перед дальней дорогой рог вина! Не нами заведено, не нам менять...

Вой телевизора заглушает его слова. Стейнберг подходит к приемнику, крутит ручки и говорит спокойно:

— Ну вот опять. Сильный разряд на приемную антенну.

Вой и помехи, которые длились обычно всего несколько минут, не исчезают. Стейнберг поворачивает ручку громкости, но даже приглушенный телевизор трещит так, будто его раскалили, а теперь брызгают водой. Стейнберг недоуменно смотрит на своих друзей. Все переглядываются молча и тревожно.

Странное смятение в стеклянной рубке главного диспетчера. Он кричит в микрофон, но самолет, заходящий на посадку, не слышит его. Диспетчер срывает с головы наушники, из которых раздается только громкий треск.

Кабинет начальника аэропорта. Звонит телефон. Начальник снимает трубку и слышит нечто, отчего глаза его округляются:

— Владимир Степанович, нарушена вся система радиосвязи. Вся, понимаете?

— Как вся?

— Так, вся связь не работает. Ни дальняя, ни ближняя, ни аэродромная, ни пеленгаторы, ни даже телевизоры на вокзале. Ничего не работает, понимаете, Владимир Степанович? Один радар на полосе кое-как дышит, и все.

— Погоди, но не может же все сразу сломаться, правда?

— Владимир Степанович, все сразу сломалось, в этом вся штука...

Боевая тревога. Вспыхивают пульты подземных шахт баллистических межконтинентальных ракет, и чугунные плиты, прикрывающие их сверху, медленно отъезжают в сторону вместе со всем своим камуфляжем: деревьями, стогами сена, пасеками... Молниеносная эстафета коротких военных докладов, похожих друг на друга, только всякий следующий раз больше звезд и золота на погонах. И вот уже Кремль, и пожилой человек в скромном сером костюме снимает трубку с причудливого белого телефонного аппарата, и другой человек на другом конце провода тоже снимает трубку и говорит, отвернувшись к окну, за которым видна зеленая лужайка и цепочка курносых бойскаутов, протянувшаяся вдоль чугунной ограды.

В эти дни мир читал:

— Человек — больше не главный актер на сцене Вселенной!

— Трагедии аэропорта Дакар.

— Космический корабль или автомат-разведчик?

— Одиннадцать океанских кораблей пропали без вести.

— Сенатор Стенсон убежден: это новый трюк Москвы.

— 7 миллиардов лир в день — доход Ватикана на религиозном буме.

— Заговор против революционных народов мира!

— Конец мира или начало новой эры?

Шок, в который было ввергнуто человечество столь стремительным и неожиданным образом, к чести его, очень быстро сменился энергичными попытками разобраться в случившемся. Вопли оголтелых экстремистов о преднамеренной «радиоатаке» были оперативно пресечены сообщениями о том, что гигантские помехи не обошли ни одну страну, и сторонники взвинчивания милитаристского невроза вновь оказались посрамленными. Однако сознание того, что эти таинственные, непонятные по своим конечным целям действия имеют некое внеземное происхождение, никого не успокоило, а вызвало, пожалуй, тревогу еще большую. Укрепление международного сотрудничества, развитие экономических и культурных связей в последние годы все дальше и дальше отодвигали угрозу военных конфликтов. Народы мира стали жить спокойнее, с большей уверенностью в мирном будущем. И вот совершенно неожиданно появляется новая реальная угроза, несравненно более опасная, хотя бы потому, что она направлена против всех. А то, что это именно угроза, почти ни у кого не вызывало сомнений. К тому же ряд крупных транспортных катастроф, вызванных внезапным сбоем радиосвязи, красноречиво указывал на враждебность неизвестных сил.

Всегда довольно далекие от текущих политических проблем астрономы были немедленно вызваны в самые высокие правительственные сферы для объяснения странного явления, но ничего определенного сказать не могли и с разочарованием и раздражением были отпущены обратно в свои обсерватории, где наблюдения проводились круглосуточно. Работа обсерваторий вызывала невиданный в истории астрономии интерес, журналисты и телевизионные комментаторы буквально приступом брали крепостные башни телескопов и огромные «проволочные заграждения» радиоантенн дальней космической связи. Иногда замечание того или иного ученого интерпретировалось весьма вольно, что давало новое движение огромным снежным комам слухов.

Чтобы внести хотя бы относительное спокойствие в эту весьма нервозную обстановку, Генеральный секретарь ООН предложил пригласить в Организацию Объединенных Наций крупнейших специалистов и выслушать их мнение о создавшемся положении. И хотя прошло уже много времени после появления непонятных и удивительных радиопомех, ничего определенного никто сказать не мог. Это был тот редчайший, быть может, единственный случай в истории науки, когда ученые—астрономы и астрофизики могли потребовать от своих правительств чего угодно и они получили бы все. Но они требовали времени, чтобы разобраться,— как раз того, что им дать не могли. Невероятное количество сил, средств и слов расходовалось пока совершенно впустую.

19 августа, вторник. Нью-Йорк.

Первым на международном форуме ученых взял слово польский профессор Анджей Брожовски.

— Уважаемые дамы и господа! Товарищи! Прежде всего мне хотелось бы напомнить вам те факты, которые лежат в основе всех гипотез моих уважаемых коллег. Это нужно сделать еще и потому, что объем всевозможной дезинформации по интересующему нас вопросу значительно превышает достоверную информацию. Так, факт номер один заключается в том, что наша планета, как известно, подвергается в последнее время сильному облучению в радиодиапазоне, что приводит к серьезным сбоям

каналов радиосвязи в весьма широком диапазоне частот. Таков бесспорный факт. Что является источником зтого излучения? Сегодня мы вправе предполагать, что зтот гипотетический источник излучения находится в космических масштабах совсем близко — где-то между Землей и Луной. Поскольку оптические наблюдения не дали пока никаких результатов, мы считаем, что источник зтот имеет весьма небольшие размеры. С другой стороны, если предположить, что источником является какая-то неизвестная комета или другой естественный объект, двигающийся по определенной траектории, то законы небесной механики позволили бы Земле выйти из зоны его действия буквально через несколько часов. Это дает основание полагать, что мы имеем дело со специально ориентируемым источником, с источником, наделенным понятием цели.

Реакция в зале была бурной. Профессор поднял руку и продолжал, не ожидая, пока окончательно уляжется шум:

— Вполне вероятно, что мы столкнулись с попыткой иного разума установить с нами контакт. Мы пробуем изучить объект излучения и планируем полеты беспилотных кораблей и автоматических станций в район излучателя. Мы не хотим рисковать. Таковы наши выводы в самых общих чертах. А теперь,— закончил Брожовски,— я отвечу на ваши вопросы.

Поднялся председательствующий, но его опередил корреспондент французской газеты. И, не ожидая, пока ему предоставят слово, он срывающимся от волнения голосом почти выкрикнул свой вопрос:

— Можно ли предположить, что Земле и всему человечеству угрожает опасность?

Наступила пауза.

Профессор Брожовски ответил не сразу. На него устремились все взгляды. Некоторые журналисты даже приподнялись со своих мест.

— Мы должны быть готовы к любым неожиданностям...

Вопрос: — Возможно, в зтих сигналах заключена какая-то информация. Были ли предприняты попытки расшифровать их?

Ричард Когуэлл, обсерватория Джорделл-Бэнк, Англия: — На сегодня мы можем сказать только одно: измеренные различными обсерваториями параметры зтого излучения не менялись ни разу с момента их возникновения. Словно вдруг зажглась лампочка, которая светит очень ярко и ровно. Не зафиксировано излучений ни в рентгеновском, ни в световом диапазоне.

Вопрос сзру Когузллу:

— Можно ли сказать, что Земля подвергается своеобразному радиолокационному обзору?

— Вряд ли... Если бы, обладая такими мощностями, мы захотели произвести радиолокацию незнакомой планеты, то мы выбрали бы совершенно иную методику и иной спектр излучателя...

Вопрос: — Известны ли были науке раньше излучатели такой мощности?

Доктор Тхорана, профессор Мадрасского университета, Индия: — Конечно! И даже несравненно более высокой. Они давно известны во Вселенной. Это так называемые радиозвезды. Однако даже если предположить, что мы имеем дело с некоей блуждающей радиозвездой, непонятно, каким образом она оказалась в пределах Солнечной системы, не будучи замеченной за многие годы до зтого еще на весьма далеких от нас расстояниях.

Вопрос доктору Тхорана:

— Известны ли науке сверхкарликовые блуждающие радиопульсары?

— Нет, никогда ничего, даже отдаленно напоминающего зтот источник излучения, никем не наблюдалось.

Вопрос: — Есть ли хотя бы какие-нибудь сведения о размерах излучателя и его геометрической форме?

Доктор Майкл Леннон-первый, профессор Гарвардского университета, США: — Мы ничего не можем сказать по зтому поводу. Как уже говорил мой коллега мистер Брожовски, излучатель не виден в оптические телескопы. Мы имеем лишь одно сообщение из Австралии о том, что на фоне лунного диска однажды была замечена черная точка, однако сами наблюдатели просили проверить зто сообщение.

Оно не было подтверждено. Радиолокационные наблюдения невозможны в зтих условиях. Я склонен предполагать, что размеры излучателя не превышают нескольких десятков метров.

Вопрос Леннону:

— Известны ли способы генерации столь большого количества знергии в столь малых объемах?

— Теоретически известны. Можно предположить, что в космосе находится очень совершенная термоядерная установка или некий генератор знергии, работающий на антивеществе. Но при работе подобных знергетических установок невероятной компактности должно было бы выделяться большое количество тепловой знергии. Однако отсутствие инфракрасного спектра убеждает нас, что излучатель— холодное тело. Способы же отвода таких количеств тепла в космосе не только неизвестны, но представляются теоретически невероятными. Короче, нам неизвестны процессы, которые могли бы поддерживать всю зту систему в знергетическом равновесии столь долгое время.

Вопрос: — Если зто действительно некие посланцы внеземной цивилизации, можем ли мы как-то объяснить, что заставило их посетить именно нашу планету?

Академик Александр Пономарев, Пулковская обсерватория Академии наук СССР: — Появление подобного объекта в Солнечной системе не случайно. По нашим предположениям, именно на планетах, окружающих звезды спектрального класса F8-КО, к которому принадлежит наше Солнце, наиболее вероятна жизнь. В то же время понятен интерес к Земле в пределах Солнечной системы. Работа земных телевизионных станций привела к тому, что Земля по мощности радиоизлучения на метровом диапазоне— второе тело после Солнца. Ее излучение в миллион раз больше, чем у Венеры и Марса. Позтому сигнал, который мы называем радиопомехой, идет к нам именно в радиодиапазоне.

Вопрос Пономареву:

— Но почему зти звездные пришельцы заставляют нас обращать на себя внимание столь долго? Почему они не предпринимают никаких других шагов?

— Когда мы говорим о космосе, мы должны помнить об относительности таких понятий, как мало и много, большой и маленький, быстро или медленно. Допускаю, что для некоей иной цивилизации неделя наших тревог — лишь одно мгновение... Мы слишком мало знаем друг друга, чтобы делать какие-либо выводы...

19 августа, вторник. Космодром.

На космодроме ненастная погода. Накрапывает дождь. На стартовой площадке — челночный корабль. Он напоминает обелиск в строительных лесах. В стороне, за откосом газоотводного канала, видны перископы бункера. В нем размещается командный пункт подготовки и пуска ракеты. Вдали, на пригорке, белеет за штриховкой мелкого дождя МИК — монтажно-испытательный корпус. Его размеры грандиозны. В этой космической гавани готовят корабли и носители. Железнодорожная колея связывает МИК и стартовую площадку.

В МИКе идет подготовка очередного корабля. Илья Ильич Зуев, которого не сразу и узнаешь в сером комбинезоне космонавта, стоит под ярко-красными заглушками больших сопел корабля в окружении нескольких инженеров.

— Учтите, второй корабль нам может понадобиться в любую минуту, в любую, понимаете?—Зуев очень серьезен.—Даже на несколько часов раньше «любой минуты». Нельзя тянуть с монтажом. Форсируйте все работы, раскалите здесь все докрасна — но форсируйте! Я не на год улетаю... Так и передайте Володе Орлову, чтобы он забыл о прежнем графике. Эти чертовы пришельцы не по нашему графику живут!

— Но мы и так, Илья Ильич, работаем в три смены. Люди с ног валятся...

— Понимаю, прекрасно понимаю. Людей добавим. Я ведь тоже на орбитальную станцию лететь не собирался, думал, уже все, отлетал свое, а вот видишь, лечу: своими глазами поглядеть все надо. Событие-то даже не фантастическое, просто...— Он ищет слово.— Ну, чертовщина какая-то! Вот, казалось, готовились, космический язык разрабатывали, конференции проводили по внеземным цивилизациям. А они прилетели — и ни черта понять не можем... Ладно, поехали на командный пункт, а то ребята уже заждались.

Командный пункт космодрома. Задняя стеклянная стена зала отгораживает амфитеатр кресел, сюда же выведены динамики громкой связи, по которым звучат обычные предстартовые команды. Через стекло виден огромный, в полстены, светящийся экран — короче, здесь обычный космический командный пункт, не лучше — не хуже других.

Зуев и космонавты пристроились в уголке. Академик упрямо твердит свое:

—...Мы должны действовать наверняка, но для того, чтобы действовать наверняка, мы мало знаем. Я понимаю ваше нетерпение, желание активных действий. Господи, какой я ни старый человек, я все понимаю, и не надо меня агитировать. Но ни я, ни один человек на Земле ничего определенного вам сейчас не скажет. Поэтому работайте, прошу вас, по старому графику. Не прошу, я требую, чтобы вы работали по старому графику. Что у вас там? «Атлантида»? Вот извольте работать на «Атлантиде». Кстати, эта лазерная антенна, которую мы туда отправили,— вещь совершенно новая и тонкая. Научитесь ее монтировать и работать с ней. Она очень может нам понадобиться... И не бойтесь, о вас не забудут...

— Извините, Илья Ильич, но я вас совершенно отказываюсь понимать,— вдруг взрывается Лежава.— Произошло поистине фантастическое событие, космическое чудо, а вы не хотите даже на день сокращать программу марсианских испытаний! Только что мы провели двое суток в тренажере, имитируя отказ теплоэлементов, при одновременном аварийном выключении всех солнечных батарей. Кому это все надо, когда рядом с нашей планетой висит космическая радиолампа, которая, может быть, предвещает выход человечества в другой мир, другую галактику, другое измерение...

— Именно поэтому,— жестко прервал его Зуев,— вы должны быть готовы к немедленным действиям, а чтобы быть готовым, надо не ждать, не томиться, а работать. Надо быть в форме. А мы тем временем попытаемся кое-что разузнать...

— Вы ничего не разузнаете до тех пор, пока не пошлете к излучателю человека,— парирует Леннон.— Нужно верить в разум и добрую волю тех, кто прислал сюда этот гигантский динамик.

— Ах, «верить в разум»! — встрепенулся академик.— Да мы с вами, господа хорошие, на одной планете живем, и друг на друга, как две капли воды, похожи, а с каким трудом «верить в разум» научились. Вспомните... хотя вы молодые, вы не помните. А я помню 72-й год, свою первую поездку в Хьюстон. Так что не будем о других галактиках говорить! Ну, в общем, вот так...— Голос Зуева стал на минуту официальным и чужим.— Как член международной Специальной комиссии и как председатель Советско-американского комитета заявляю вам официально: до тех пор, пока хоть некоторая ясность не наступит, ничего в вашей подготовке мы ни менять, ни форсировать не будем. Ни-че-го,— раздельно произнес он.— А сейчас давайте спускаться вниз, мне уже пора... Да не грустите вы — поверьте, у меня чутье,— без вас здесь дело все-таки не обойдется...— Он хитро подмигнул космонавтам...

На экране телевизора видят космонавты, как поплыла вверх к люку челночного корабля коробочка лифта.

— Зачем он летит? — спрашивает молчавший до сей поры Стейнберг.— Он не доверяет своим сотрудникам на орбитальной станции?

— Человек, которому Зуев не доверяет, не смог бы проработать на орбите и одного часа,— спокойно отвечает Седов.— Но Зуев не пустит «Гагарина» даже до Луны без того, чтобы сам он не проверил каждую кнопку, вне зависимости от того, существуют пришельцы, или не существуют. Зуев — это Зуев. Это невозможно объяснить. У него нет в жизни ничего, кроме «Гагарина», как до этого не было ничего, кроме «Мира», а до «Мира» ничего, кроме «Звезды», а до «Звезды» — «Салюта», а до «Салюта» — «Союза»...

По трансляции разнесся голос:

— Объявляется готовность один час. Повторяю: часовая готовность. Начать эвакуацию старта...

По ракете стекал, клубясь, белый туман кислородных паров.

31 августа, воскресенье. Москва.

Кухня в квартире Александра Матвеевича Седова. Пожалуй, только в воскресенье удается позавтракать всей семье вместе.

— Вера! Как ты сидишь? — раздраженно говорит отец.— Где твои ноги? Сядь прямо. Почему мы об этом столько говорим?

Девочка усаживается за столом, исподлобья глядя на сердитого отца. Жена Александра Матвеевича молча наливает ему кофе.

— Что за моду взяли у нас на почте! — снова язвительно и капризно говорит Седов.— Девять часов—газет нет!

— А ты радио послушай,—примирительно говорит жена.

— Ну при чем здесь радио?

Девочка тихо сползает с табуретки и уходит.

— Что нужно сказать маме? — кричит ей вслед отец.

— Спасибо,— тихо доносится из коридора.

— Ну что ты, Саша? — ласково говорит жена.— Ну мы тут при чем?

Плохо Седову, муторно, стыдно. Права Вероника, кругом права. И подло это — срывать на них свое нетерпение. Да, действительно, не те уже у тебя нервы, Александр Матвеевич, что раньше. И, может быть, прав Зорин со своей командой, когда не хочет тебя в космос пускать. А то и там вот этак начнешь психовать. Ну ладно, ждать недолго осталось... Сегодня все выяснится...

Седов ловит руку жены и говорит уже совсем другим, покорным и усталым голосом:

— Ты знаешь, что́ меня больше всего раздражает? То, что они всегда изображают из себя самых загруженных людей, я это давно заметил. Комиссия заседает в воскресенье! Все надеются, что их за усердие похвалят... Они необыкновенные мастера имитации бурной деятельности. Сколько показухи! Ты бы на космодроме посмотрела: марлевые намордники, таблички «Рукопожатия отменены», необыкновенная озабоченность на лицах. Ты думаешь, только наши такие? Американцы еще хуже! Космонавты идут по коридору, так сирену включают, и люди встречные разбегаются, как от чумных. И сегодня: «Комиссия»! Право же, это не проблема — списать Седова на свалку или дать старику попрыгать еще немного... Надоело, Вероника, ох, как все надоело! Знаю, знаю все, что ты скажешь. Да, я уже налетался, я все уже знаю, все видел, но именно поэтому мне необходимо быть там! Я там нужен, понимаешь? Эти клистирники не могут понять грандиозности случившегося! Ведь от того, как все там...— он ткнул пальцем в люстру,— ...повернется, зависит, может быть, будущее всех нас!

— Но если ты будешь сейчас лезть на стенку, ничего не изменится и пользы не будет никому. Правда, Саня, милый, успокойся, а?

— Ладно. Я спокоен. Я спокоен, как сфинкс, как камень, как Стейнберг! Я спокойно беру дочку и спокойно еду с ней... в зоопарк, как полагается примерному отцу в воскресенье. Веруша, хочешь поехать в зоопарк? — кричит он в коридор.

Девочка, как все дети, тонко чувствующая обстановку, не хлопает восторженно в ладоши, а вопросительно смотрит на мать. Та улыбается. Наконец поняв, что ее не разыгрывают, девочка кричит: «Ура!»

— И не жди нас до обеда.— Седов целует жену и выходит из комнаты.

Вероника, улыбаясь, смотрит им вслед, но когда дверь за ними захлопывается, она устало садится на стул и плачет.

31 августа, воскресенье. Космос.

Голубая Земля внизу. Над Европой облачно, но очень четко через ясное сухое небо просвечивает желтым Аравийский полуостров. Зеленеющий клин Индии ткнулся в зыбкое, дрожащее бликами пространство океана, а к северу круто уходят за размытый горизонт шоколадно-белые Гималаи. Зуев смотрит на Землю из иллюминатора межпланетного космического корабля «Гагарин», пришвартованного к одному из причалов орбитальной станции «МИР-4». Молча отплывает от иллюминатора...

Очередная телепередача с борта орбитальной станции. У микрофона— Зуев.

— Мы не только не смогли вступить в контакт с космическим объектом, но, как и раньше, не уверены ни в одном его физическом параметре. Единственное, что его по-прежнему характеризует,— это постоянное, неподвижное, узконаправленное мощное радиоизлучение. Широкая полоса радиопомех движется по земному шару по мере его вращения. Хорошо, что теперь мы точно знаем, где в данный момент оно проходит. Вот сейчас, например, радиолуч накрыл восточную часть США от Атлантики до примерно Миссисипи, всю Кубу, республики Центральной Америки, Эквадор, западные районы Колумбии и Перу, острова у побережья Чили, а на севере — великие американские озера и центр Канады. Эта полоса движется на запад со скоростью земного времени...

31 августа, воскресенье. Москва.

Среди вольер нового зоологического парка на юге Москвы гуляет Седов с дочкой, тщетно заставляя себя заинтересоваться, отвлечься от мысли о проклятой комиссии, на которой, как ни высокопарно это звучит, решалась его судьба.

— Пап, а почему у гусей ножки красные? — спрашивает Верочка.— У них ножки всегда зябнут, да?

— Что? — Александр Матвеевич не слышал и не понял вопроса.—Что? Красные? Очевидно, зябнут... Я думаю так...

— Так ведь тепло...

— Да, вроде тепло... Кто их знает, гусей...

Многие посетители зоопарка узнают его, приветливо улыбаются, здороваются, другие просто шепчутся, скосив на него глаза. Народу в зоопарке немного, несмотря на воскресный день. Подходит мальчик, просит автограф. За ним — еще и еще.

— Извините, товарищи, но я тоже отдыхаю,— говорит Седов ворчливо и быстро уходит.

Шагают молча по пустынной аллейке.

— Пап,— спрашивает Верочка,— а почему ты раньше всем расписывался, а теперь нет?

— Потому что раньше я был космонавтом.

— А теперь?

— А теперь...— Он смотрит на часы.— А теперь не знаю, кто я. Может быть, просто отставной генерал...

31 августа, воскресенье. Дно Черного моря.

В домике космонавтов продолжается бесплодный, тягучий, изматывающий душу спор, который, то затихая, то разгораясь вновь, идет уже недели три.

— ...Все это прекрасно, но я задам вам вопрос, который мне задал мой отец и на который я не мог ответить: почему именно нам оказана честь посещения высшим разумом? — горячится Леннон.— Чем мы замечательны?

— Мы замечательны тем, что мы существуем,— говорит Лежава.

— Слушай, Анзор, если ты все знаешь, объясни мне, почему они исследуют нас так долго? — спрашивает Раздолин.— Не пора ли им составить о нас какое-то мнение и наконец решить, стоило ли вообще сюда лететь? Если это туристический экспресс, то где, черт возьми, сами туристы?

— Правильно,— кивает Леннон.— Можете ли вы себе представить, чтобы земляне пролетели миллионы, миллиарды, а возможно, и миллионы миллиардов километров и не попытались поговорить с существами, которых они обнаружили по прибытии к месту назначения?

— Не горячись, Майкл, они, может, и пытаются как раз поговорить с тобой,—спокойно замечает Лежава.

— Ну тáк что угодно можно напридумывать,— разводит руками Раздолин.

— Совершенно верно,— Лежава невозмутим.— Ты прав абсолютно: напридумывать можно что угодно.

31 августа, воскресенье. Москва.

Пап, а почему, интересно, крокодилы всегда спят? — удивляется Верочка.

— Спят? Крокодилы? — переспрашивает Седов.— А ведь верно! Делать им нечего, дочка, вот и спят, забот не знают.—Он опять смотрит на часы, оглядывается вокруг и говорит почему-то шепотом: — Верочка, давай поедем кататься на велосипеде! Ведь ты любишь кататься на велосипеде?— И, не дожидаясь ответа, Александр Матвеевич начинает пробираться к выходу из террариума. Он почти бежит по зоопарку. Прямо возле ворот им попадается свободное такси.

— Пап, зто мы на велосипеде торопимся кататься?

— На велосипеде, доченька, на велосипеде...

Московские таксисты — люди начитанные, разносторонние и дерзкие. Шофер сразу узнал знаменитого космонавта, ему не терпится начать разговор, и единственное, что его сдерживает до поры,— на редкость сосредоточенное лицо необыкновенного пассажира. Наконец шофер не выдерживает:

— В Институт космической медицины?

— Нет, мы едем кататься на велосипеде,— громко отвечает Верочка.

Седов молчит. Он как бу́дто даже и не слышал вопроса.

— Да, задали зти марсиане работы,— как бы сам с собой распевно разговаривает шофер.— Ведь надо же, что вытворяют, гады!

— А что, собственно говоря, вытворяют? — Седов отвернулся от окна и с интересом посмотрел на водителя.— Есть новости?

— Мне один пассажир рассказывал,— шофер продолжает разговор с радостным оживлением,— он тоже, между прочим, как и вы, где-то по космосу, как я понял, работает,— так он говорил, что зто с Марса космический корабль, а марсиане сами — вроде больших пауков, в общем, гадость какая-то. Они вот сейчас нас изучают, а как закончат изучать, так и начнут...

— Что начнут?— спрашивает Верочка.

— Порабощать народы Земли,— уверенно говорит шофер.— Это у них в институте на закрытом собрании официально объявили. Солидный человек, врать не должен,— полувопросительно заканчивает шофер.

— Однако ж врет,— говорит Седов и снова отворачивается к окну.

Машина остановилась у проходной, рядом с которой блестит вывеска «Институт космической медицины».

Через минуту Седов с дочкой уже сидят в приемной директора ИКМ. Верочка ведет себя смирно, хотя ей очень скучно. Александр Матвеевич неотрывно смотрит на кожаную дверь, за которой сейчас заседает комиссия.

— Пап, а когда мы будем кататься на велосипеде? — тихонько спрашивает Верочка.

— Сейчас пойдем, дочка... Мы спустимся в зал,— говорит Седов секретарше.— Если что, позовите меня, пожалуйста.

— Конечно, конечно, Александр Матвеевич...

Вот он — зал, в котором Седов провел столько часов и один и вместе с друзьями... Верочка с интересом бродит среди холодно поблескивающих снарядов, увидела велоэргометр и с криком: «Велосипед, велосипед!» — быстро уселась на него и стала весело вертеть педали. «Проклятый велосипед»,— думает Седов. Сколько километров накрутил он в зтом зале... Нет ни одного предмета здесь, глядя на который он не вспомнил бы всегда одно и то же: напряжение, выдержка, собранность, предельное усилие тела и духа, сладость расслабления и снова— напряжение... В зтом зале человеческие сердца выработали столько знергии, сколько, наверное, установи тут генераторы, и то не получишь... Черт побери! А ведь вполне возможно, что он сейчас в последний раз пришел сюда... Пришел прощаться...

— Ну, поздравляю, дорогой, а ты боялся! Я же говорил...— Этими словами Андрей Леонидович Зорин прерывает мысли Седова.

Седов долго молча смотрит на врача, потом подходит к параллельным качелям — снаряду с виду невинному, но едва ли не самому тяжелому, толкает доску. Стоит и улыбается, глядя на ее четкое, как у часового маятника, движение.

9 сентября, вторник. Дно Черного моря.

Уже первые признаки осени в Крыму: золото солнца освещает поблекшую зелень парков. Но краски увядающего Крыма сейчас, увы, не для космонавтов. Подводный дом уже не впервые применялся для космических тренировок. Сюда, на крымское дно, приезжали строители больших орбитальных станций — космические монтажники. Здесь тренировались все, кому предстояло работать в открытом космосе, и, хотя в программе будущего полета такой выход допускался лишь в исключительной — так называемой нештатной — ситуации, Зуев на своем настоял, и Самарин отправил космонавтов на недельку в «Атлантиду» — так называлась подводная лаборатория. Сегодня в кают-компании «Атлантиды» остались Раздолин и Стейнберг. Остальные — «на выходе», как записал Раздолин в бортовом журнале. В одних плавках он сидит у большого иллюминатора, внимательно наблюдая за всем происходящим под водой. В руках — микрофон ультразвуковой подводной связи. Раздолин видит круто бегущую вниз песчаную отмель, по которой, перегоняя друг друга, прыгают веселые солнечные зайчики. Скачут они и по блестящей крутобокой металлической панели, имитирующей внешнюю оболочку «Гагарина». В программе сегодняшних тренировок — установка специальной наружной антенны лазерной связи, ее решено срочно смонтировать на «Гагарине», ибо зто была единственно возможная аппаратура связи, которая не боялась помех «Протея» — так в последнее время журналисты окрестили мифический излучатель.

Три человека с аквалангами за плечами медленно кружатся в пестром свете солнечных бликов, стараясь закрепить на панели нечто, напоминающее до поры сложенный зонт. Зонт разворачивают «ручкой вверх», стараясь попасть опрокинутой «шишкой» в замок на панели, но зто не удается, потому что один

из акванавтов отпускает «ручку», и зонт медленно валится набок. Двое плавающих у дна стремятся подхватить его, но в это время «шишка» выскальзывает из панельного замка.

— Нет,— спокойно говорит Раздолин, глядя на всю эту возню за иллюминатором.— Так дело не пойдет. Алан, заводи в замок, а Майкл с Анзором придерживайте легонько сверху. Но легонько, не надо дергать... Начали!

Зонтик опять поднимают и начинают заводить на прежнее место.

— Вот так,— комментирует Раздолин.— Майкл! Не дави! Ты же им мешаешь! Только придерживай. Анзор, сейчас на тебя упадет. Не отпускайте сверху, пока Алан не замкнет растяжку. Алан, давай... Молодец. Майкл может отпустить, а ты, Анзор, держи. Хорошо... Ну, вот и все... Крепите...

Позади Раздолина у электрической плиты орудует дежурный по подводному дому Джон Стейнберг. Он тоже в плавках, но этот «костюм-минимум» дополнен белым крахмальным фартуком. На электрической плите в большой сковородке шипит сало, краснеют помидоры, а Стейнберг колет в сковородку яйца.

— Ты сам придумал такую яичницу? — не оглядываясь, спрашивает Стейнберг.

— Это украинцы без меня придумали лет за пятьсот до моего рождения,— отвечает Раздолин, глядя в иллюминатор.

В иллюминатор видно, как огромный сложенный зонтик начинает раскрываться под водой, подобно цветку. Внутренняя поверхность поднятой вверх чаши оказывается зеркально блестящей, и тени маленьких волн, бегущих где-то высоко над ней, отражаются в солнечной сфере лазерного приемника, рождая причудливую игру света.

— Мне очень нравится русская кухня,— удовлетворенно оглядывая сковородку, говорит Стейнберг.— Мне только хлеб у вас не нравится.

— Ну, ты и сказал! — оборачивается Раздолин.

Из динамика на стене голос Редфорда:

— Не понял. Повтори.

Раздолин в микрофон:

— Это я не вам. У вас все в порядке. Крепите — и домой. Есть хочется.

Голос Леннона:

— Джон, конечно, спит?

Стейнберг подходит к Раздолину и громко говорит в микрофон:

— За этот выпад ты получишь свою порцию отдельно.

— Не понял.

— Поймешь.

— Хватит разговаривать. Я отключаюсь,— говорит Раздолин.

На ручке микрофона гаснет маленькая красная кнопочка. Стейнберг берет прозрачный полиэтиленовый мешочек, кладет в него яйцо, кусочек украинского сала, помидор и клочок бумаги, на котором пишет по-английски: «Для мистера Леннона»,— затягивает мешочек веревочкой и опускает в воду входного колодца. Раздолин весело наблюдает за ним. Встает, потягивается, потом говорит:

— Значит, говоришь, хлеб? Но ведь американский хлеб по вкусу — вата.

— Почему вата? — обиженно спрашивает Стейнберг.

— Ну, хорошо. Не вата. Пенопласт,— поправляется Раздолин.

— Ты ничего не понимаешь,— говорит Джон.

— Я понимаю, старина, что мы с тобой патриоты,— смеясь, говорит Раздолин, похлопывая Стейнберга по плечу.— И это замечательно!— Он молчит, потом продолжает медленно и серьезно: — Как счастлива была бы наша планета, если бы мы спорили только о вкусе хлеба...

— У нас все,— докладывает динамик на стене голосом Редфорда.

Раздолин бросает взгляд на круглые стенные электрические часы с резко бегущей большой секундной стрелкой, подходит к микрофону — вспыхнула красная кнопка — и говорит, обернувшись к иллюминатору

— Молодцы. Девятнадцать минут. Это уже не сорок три.

Один из космонавтов смотрит на ручные часы, и динамик возражает несколько обиженным голосом Лежавы:

— Не девятнадцать, а семнадцать. Я точно засекал.

— Пусть так,— соглашается Раздолин.— Все. Отбой. Всем на обед.

Тихо шевеля ластами, тройка плывет к подводному дому...

9 сентября, вторник. Космос.

Сеанс связи с орбитальной станцией «МИР-4». У микрофона японский профессор Ятаки — один из спутников Зуева по космическому путешествию.

— По уточненным данным подтверждается гипотеза, высказанная за несколько часов до нашего старта уважаемым профессором Ленноном: размеры излучателя действительно не превышают в миделе[1] 30 квадратных метров,— говорит японец.— Для межзвездного пилотируемого космического корабля подобные размеры представляются невероятно скромными, если не сказать фантастическими. Точное, в пределах одной сотой процента, расположение излучателя в той точке пространства, где взаимно нейтрализуются силы притяжения Земли и Луны, говорит о высокой чувствительности гравитационной аппаратуры и стремлении к оптимизации траектории. Такое впечатление, что на излучателе тщательно экономят энергию за счет траектории и одновременно излучают ее столько, сколько с трудом могут выработать все электростанции Земли. Но самая большая загадка для нас сегодня: почему он такой маленький? По всем расчетам, он не может быть таким маленьким. Мы могли бы попытаться дать какое-то толкование излучателю, если бы он был хотя бы в сто раз больше, а еще лучше — в тысячу. Но сейчас...

9 сентября, вторник. Дно Черного моря.

Подводный дом «Атлантида». За столом, вокруг яичницы — гордости Стейнберга — и прочих земных яств разместились космонавты в трусах и мягких махровых пляжных рубашках. Спор, разумеется, продолжается:

— Если ты прав,—горячо говорит Лежава Леннону,— то объясни, зачем мы возимся с этой лазерной системой?

— Затем, что наши радиосигналы «Протей» будет глушить,— говорит Раздолин, отрезая себе добрый ломоть консервированной ветчины.

— Но если мы полетим к Марсу, она не должна нам мешать! — замечает Редфорд.—Объясни ему, Майкл, ты же астроном.

[1] Мидель — среднее поперечное сечение судна, дирижабля, крыла самолета или ракеты.

— Достаточно «Протею» переместиться по его сегодняшней орбите на 15 градусов, и они будут глушить нас по всей нашей траектории, не говоря о том, что Земля не всегда сможет выйти на связь с нами,—хоподно говорит Леннон.—Да о чем ты говоришь! Еспи они захотят, с излучатепями такой мощности они пикнуть нам не дадут ни вблизи Земли, ни у Марса.

— Говорите, что хотите, а я уверен, что мы полетим к нему навстречу,— мотает головой Раздолин.

— Я не знаток русского языка,— замечает Стейнберг,— но об одном и том же вы говорите, то «он», то «она», то «они».

— О, как много я отдал бы, чтобы узнать, кто же зто «он» — пипотируемый корабль ипи «она» — автоматическая станция! — восклицает Лежава.

— А если зто «оно»?— смеется Раздопин.— Нечто третье, ни на что не похожее?

Редфорд встает из-за стопа, отходит к тепевизору и включает только изображение. Красные и белые футболисты бесшумно резвятся на зепеном попе.

— Хочу проверить часы,— не оборачиваясь, объясняет Редфорд.

Резкий скачок на зкране тепевизора, изображение запрыгапо, пошло рябью. Все смотрят на часы над пультом подводного дома.

— Все точно,—спокойно говорит Редфорд и возвращается к стопу.

— Поразительно! Как будто ничего не произошпо. Все уже привыкпи к тому, что телевизор не должен работать,— говорит Лежава.— Иногда мне кажется, что зти «марсиане» были всегда.

— Приспособляемость к обстоятельствам не слабость, а сипа человеческого рода,— говорит Стейнберг.— А потом пюди верят, что пришельцами занимаются разные ученые, которые не дадут их в обиду. Мы уже много знаем, а завтра будем знать еще больше...

— А послезавтра еще больше,— одними губами улыбается Леннон.— О, как я ненавижу бюрократов! Конгресс не может договориться с НАСА, НАСА не хочет принимать решений без сенатской комиссии по космосу, комиссия согласовывает свои выводы с астронавтическим комитетом папаты представитепей...

— А в результате? — перебивает его спокойный голос Редфорда.

— А в результате мы наслаждаемся жизнью, а «Протей» летает,— раздраженно заключает Леннон.

— И, кстати, зто уже мапо кого вопнует,— грустно говорит Редфорд.— Интереса к «Протею» хватило на недепю. А еспи бы не помехи радиосвязи, о нем бы вообще не вспоминапи. 90 процентов пюдей не могут даже представить себе масштаб спучившегося. «Протей» в принципе не мешает депать бизнес, почему же он допжен волновать людей? А вот твоему бизнесу он мешает, и ты волнуешься.— Он оборачивается к Леннону.— И бизнесу Джона он тоже мешает, и Джон тоже вопнуется...

— Ну при чем здесь бизнес, Апан? — поморщипся Раздопин.— «Протей» — проблема не зкономическая и не техническая, а мировоззренческая. Мы верим, что Всепенная бесконечна, что она познаваема и что за правду по-прежнему стоит отдать жизнь, а уж тем бопее частицу материапьного благополучия. Пусть на один легковой автомобипь меньше, но на один сантиметр к правде бпиже!

— Единственно, чего нам не хватало,— криво усмехнупся Стейнберг,— зто попитических дискуссий.

— Ох, не могу! — закричал вдруг Лежава.— Не могу больше! До чего же мне надоели зти разговоры! Что мы обсуждаем? Сколько зто будет продолжаться? Вместо того, чтобы действовать, мы все говорим, говорим...

— Что ты хочешь? — перебивает его Леннон.— Мы сказапи Зуеву, что хотим лететь к излучатепю, мы говорили с Кзтузем... Решать им...

— Да почему решать им?! — снова взрывается Лежава.— Мы поговорили и успокоипись. Ты что, не знаешь Кзтузя? А Зуев твой пюбимый снова упрятал нас на дно морское, чтобы мы у него в ногах не путапись. Сидим, едим, в шахматы играем, телевизор смотрим! Прямо Дом ветеранов сцены... Мне не нужна имитация невесомости, понимаешь? Я в невесомости два месяца прожип! И антенну зту дурацкую я в настоящей невесомости один могу смонтировать за десять минут!

— Ну-ну-ну,—улыбается Редфорд.

— Больше всего меня возмущает то, что мы живем, как будто ничего не изменилось. Последствия зтого события могут быть страшнее, чем все наши войны, вместе взятые.

— Ты не допускаешь, что зто событие может принести всем нам величайшее бпаго? — перебивает Леннон.

— Допускаю. В пюбом варианте речь идет о перевороте в судьбе земной цивилизации, зто вы понимаете?

— Послушай, Анзор, в чем мы перед тобой провинипись, что ты на нас кричишь? — с нарочитым спокойствием спрашивает Стейнберг.

— Ты провинился в том, что лопаешь яичницу с украинским сапом, вместо того чтобы лететь к изпучателю! — отрезап Лежава.

— Зто ты ее лопаешь,— невозмутимо замечает Стейнберг,—а я ее жарю...

Редфорд подходит к полке, перебирает какие-то бумаги и, взяв один писток, возвращается к столу.

— Давайте-ка, ребята, обсудим,— говорит он задумчиво.— Я вот тут кое-что набросал...

Все оборачиваются к нему.

— Что зто такое? — спрашивает Леннон.

— Это набросок программы попета к излучателю. Самый общий, разумеется...

— Э, нет, обсуждать давайте все вместе!

На зтот веселый, добродушный гопос мгновенно оборачиваются все, сповно их током ударило. В шлюзовом люке подводного дома из воды торчит человеческая голова, пицо скрыто маской для ныряния. Тишина в доме такая, что слышно, как скрипит мокрая резина, когда человек стягивает маску.

— Саш, зто ты? — шепотом спрашивает Раздолин.

— Я,— с улыбкой отвечает Седов.

Редфорд закрывает гпаза и, набрав полные пегкие воздуха, кричит, что было сил:

— Ур-ра! Саша вернупся! Ура!

Пять веселых полуодетых людей мнут и тискают мокрого Седова.

— Ну, рассказывай: все в порядке?

— Новости какие-нибудь привез?

— Новости дозревают,— упыбается Седов.

Резко звонит телефон.

Раздопин снимает трубку.

— «Атлантида» спушает... Саша, тебя.— Он протягивает трубку Седову.

— Седов. Да... Спасибо. Прибыл благопопучно. Да, по-моему, неплохо встретипи.— Он косится на друзей.—Понял... А повестка дня? Ах, вот оно что!— восклицает он радостно.— Спасибо... Конечно, конечно... До свидания.

Он кладет трубку и, молча улыбаясь, оглядывает обступивших его космонавтов.

— Ну?! — не выдерживает Раздолин.

— Новости дозрели,— говорит Седов.— В 12 часов

в четверг советско-американское совещание. Будет обсуждаться вопрос об изменении программы нашего полета. Вот так, Алан...— Седов оборачивается к Редфорду.— Кончилась ваша курортная жизнь!

11 сентября, четверг. Крым.

Три одинаковых автомобиля спешат по горной дороге к белому красавцу дворцу, башенки и арки которого прячутся среди деревьев парка.

В одной из машин Леннон, обернувшись к Раздолину, сидящему сзади, говорит:

— Я сегодня слушал американское радио. Знаете, как называют нашу сегодняшнюю встречу? Вторая ялтинская конференция!

— Кстати,— Раздолин кивает в окно,— в этом дворце жил президент Рузвельт...

Помолчали.

— А им, пожалуй, было легче,—медленно говорит Леннон.

— Почему?

— Все было понятно. Был конкретный враг. Ясна была цель.

— Ну, не легче. Все-таки была война.

— А ты уверен, что завтра не начнется такая драка, по сравнению с которой все прошлые — детские игрушки?

— Уверен,— твердо говорит Раздолин.

— Почему?

— Потому что я коммунист, а следовательно, оптимист. Общественное сознание может в какой-то мере отставать от уровня развития техники, но очень большим этот разрыв быть, я уверен, не может.

— При чем тут общественное сознание?

— То, что там летает,—Лежава ткнул пальцем в небо,— не может сделать кто-то один. Одному это и не нужно. Их много. Следовательно, понятие общественного сознания справедливо и для них.

Во второй машине — Седов и Стейнберг.

— Саша,— говорит Джон и сразу замолкает, потому что это вырвалось у него непроизвольно: он никогда не называл своего командира вот так, просто по имени. И Седов тоже сразу понял, что Джон напряжен, и обернулся к нему просто и ласково, будто и не заметил ничего.—Ты знаешь,—Стейнберг сглотнул, что-то мешало ему говорить,—это я тогда заварил всю кашу... Ну тогда, когда мы ходили к Зуеву... Я после много думал об этом... Все уже забыли этот случай, а я все помнил. И вот я хотел... захотел, чтобы ты знал...

— Спасибо, Джон.—Седов положил ему руку на плечо.— Я все понял. Все понял, как надо, спасибо...

Машины останавливаются у подъезда дворца. На ступеньках космонавтов встречают генерал-полковник Самарин, Зуев, вернувшиеся вместе с ним с орбиты профессора Ятаки и Делонг, руководитель американской части программы «Марс» Майкл Кэтуэй. Шутки, рукопожатия, дружеские похлопывания по плечу. С террасы смотрят несколько телекамер, снуют фотокорреспонденты.

— Послы Нептуна прибыли, можно начинать,— говорит кто-то громко за их спиной.

Все тронулись вверх по лестнице...

Светлая просторная зала. Зеркала делают ее еще просторнее. Ветер шевелит белые шелковые занавески на распахнутых окнах. Большой круглый стол, в центре которого два флажка: советский и американский. Космонавты разделились на этот раз: слева сидят американцы, справа— представители СССР.

— Господа, товарищи! — поднялся Зуев.—Мы собрались здесь, чтобы обсудить возможность изменения программы полета космического корабля «Гагарин» в связи с непредвиденными и всем хорошо известными обстоятельствами. На этом изменении настаивает экипаж. Я знаю, что есть доводы против. Прошу высказываться.

Слово просит Кэтуэй. Он улыбнулся сидящим вокруг стола и заговорил по-русски, но с сильным акцентом:

— Кажется, у русских есть такая поговорка: за двумя зайцами побежишь, ни одного не схватишь. Так? Очень хорошая поговорка. Почему я против полета к непонятному излучателю и настаиваю на полете к Марсу? В первом случае у нас есть программа, которую мы разрабатывали вместе много лет. Мы знаем, куда и зачем летим. Наш корабль предназначен именно для такой, а не иной задачи: это корабль с многолетними ресурсами. Мы имеем идеальный экипаж, собранный и подготовленный именно для выполнения задач марсианской экспедиции. В составе этого экипажа наряду с навигаторами и техниками мы имеем биолога, физика и геолога. Наконец, наступает великое противостояние Марса, а следующего великого противостояния надо ждать 16 лет. Все это не позволяет менять программу. Уже несколько лет все человечество ждет экспедиции на Марс... Во втором случае,— продолжает Кэтуэй,— мы не имеем никакой программы. Мы не знаем, как близко от излучателя мы должны остановиться, не знаем, а что, собственно, мы должны предпринимать. Корабль не предназначен для такого полета, не имеет средств для разведки в открытом космосе. Его экипаж не подготовлен для подобной работы, выход в открытый космос является для него нештатной программой. Согласитесь, что для подобной космической разведки нам нужен совершенно другой экипаж, в который было бы неразумно включать столь уважаемых специалистов, как астрофизик Майкл Леннон и геолог Юрий Раздолин. Что будут делать они в таком полете? Наконец, мы совершенно не знаем, как поведет себя излучатель и что с ним произойдет через несколько минут. Мы заседаем, а он, может, уже улетел.—Кэтуэй сел и опять широко улыбнулся всем людям за столом.

— Самое парадоксальное, что он кругом прав,— говорит, наклоняясь к Раздолину, Седов.— Но надо с ним спорить...

Седов просит слова. Встает, вытягивается, как по стойке «смирно». Чуть бледен — видно, что волнуется и борется с волнением. Говорит отрывисто, сглатывает:

— Товарищи, господа! Я военный человек и выполню приказ, который мне будет отдан. Я командир корабля и поведу его туда, куда потребует программа. Но от себя и от имени моих товарищей — тех, кто рядом со мной, и тех, кто сидит напротив,— я хочу сказать несколько слов. Мы понимаем, что такое полет на Марс. Мы понимаем, что мы, члены этого экипажа, уже никогда не увидим Марса, о котором многие из нас мечтали долгие годы. То, что для вас называется изменением программы, для нас означает итог жизни. Но мы понимаем также, что привязанный к Солнцу Марс никуда не денется. Пройдут годы, и наши дети исполнят то, что задумали мы, и сделают это, наверное, лучше нас. Но ни дети, ни внуки, ни все грядущие поколения никогда не простят нам, если сегодня мы сделаем вид, что ничего не слышим и ничего не видим. Мистер Кэтуэй прав во всем. Действительно, может быть, пока мы тут заседаем, излучатель уже улетел. Что почувствуете вы, если это случится? Облегчение? Ведь все опять будет по-прежнему... Нет! Чувство необыкно-

венной утраты и, если хотите, даже стыда за всех нас, за нашу нерешительность, недоверчивость и подозрительность, за все то, что так часто мешало нам на Земле и что теперь мы, увы, переносим в космос... Я убедительно прошу изменить программу полета «Гагарина» и разрешить нашему экипажу — всему нашему экипажу, без замен,— провести разведку космического излучателя.

Седов садится. И вдруг в тишине — одинокие аплодисменты. Все оборачиваются. Редфорд аплодирует Седову. К нему присоединяются все космонавты, а за ними — и другие участники совещания.

30 октября, четверг. Космос.

Отсек связи орбитальной станции «МИР-4». У передающей телевизионной камеры — оператор в голубом комбинезоне. Ноги — в «стременах» на полу, удерживающих его от вращения в невесомости. Седов, паря в невесомости, старается закрепиться там, где указывает ему оператор. Он сосредоточен и несколько даже досадует на неудобства невесомости. И говорить он начинает без разбега, без предисловий:

— Прошу простить меня за краткость: мы должны садиться в корабль через...—он смотрит на часы,— двадцать девять минут. Мы собирались лететь к Марсу, как вы знаете. Наш путь изменился, но он не стал легче. Из тысячи пунктов прежней программы у нынешней остался только один: понять. Я хочу верить, что нам это удастся. Наш экипаж шлет привет Земле. До свидания.

Он медленно поплыл к переходному люку...

Зуев нажал несколько кнопок на своем пульте в маленьком рабочем кабинете и сказал торопливо и озабоченно:

— Соедините меня с Седовым, только побыстрей.

Но, когда на пульте зажегся транспарантик «Говорите», тон Ильи Ильича стал совсем иным, веселым, даже беспечным.

— Александр Матвеевич! Ты что такой невеселый был по телевизору? — звонко заговорил динамик голосом Зуева в шлюзовой камере орбитальной станции.

Седов здесь один. Он проверяет показатели на маленьких нагрудных щитках ранцевых ракетных двигателей перед тем, как положить их в мягкие ложа контейнеров. Откладывает ракетный ранец и говорит спокойно, точно так же, как только что говорил по телевидению:

— А что же веселиться, Илья Ильич? Дело-то ведь страшное...

Пауза: ответ неожиданный.

— То есть в каком смысле страшное? — наконец спрашивает Зуев.

— В самом прямом смысле. Ответственности страшно. За всю Землю ответственность на нас...— спокойно отвечает Седов.

Опять пауза. Потом Зуев говорит уже не тем веселым, бодряческим тоном, а медленно, с твердой убежденностью в голосе:

— Ты прав, Александр Матвеевич. И я рад, что ты это понимаешь и сказал мне это.

30 октября, четверг. Земля — Космос.

Черная бездна с россыпью немигающих звезд. Глубокая тень причала орбитальной станции, у которой стоит «Гагарин», заметна только потому, что в тени звезд нет. Только цепочка огней на борту космического корабля светится рядом с иллюминаторами станции. Вдруг цепочка эта дрогнула и тихо двинулась вперед. И весь причудливый, странный гигант начал выползать из черной тени, ослепительно сверкая под лучами солнца. Он отчаливал медленно и величественно, как отходит от пирса большой океанский лайнер. Никаких огненных струй, привычных для ракет, стартующих с Земли, никакого грома— безмолвие. Внутри «Гагарина» слышался, правда, тонкий, высокий свист магнитоплазменных двигателей — незнакомая нам, жителям 70-х годов XX века, мелодия орбитального старта межпланетного корабля. «Гагарин» начал свой путь к тайне.

Командный отсек. Довольно тесное помещение с большим, выгнувшимся дугой пультом, против которого три кресла. Посередине сидит Седов, справа от него Редфорд, слева — Стейнберг. Седов крепко держит в правой руке штурвал, похожий на рубильник, и медленно ведет его от себя. В иллюминаторах — край орбитальной станции на фоне расплывчатого бело-голубого диска Земли. Из динамика, незаметного среди множества приборов на пульте,— ровный, спокойный голос Зуева:

— «Гагарин», я двадцатый. Очень хорошо, «Гагарин». Мягко, плавно. 28-й двигатель не включайте, а то он своей струей может развернуть «МИР-4». Не беспокойте их. А угол по рысканью выберете, когда подальше отойдете. В общем, действуйте по штатной программе.

— Вас поняли, двадцатый,— отвечает Седов.— Угол 26 минут. Начнем его выбирать при отходе на 20 километров... У нас все в порядке, все параметры в норме.— И вдруг добавляет взволнованно и восхищенно: — Илья Ильич! Вот это действительно корабль! Такая громадина, а как слушается!

— А кто делал? — задористо говорит Зуев.

Голос Стейнберга:— Я третий. Десятая минута полета, замечаний по плазме нет.

Голос Лежавы: — Я четвертый. Замечаний по СЖО нет.

Голос Леннона: — Я шестой. На десятую минуту расстояние до станции 8434 метра.

— Я второй,—говорит Редфорд.— Принято по десятой минуте.

Радость, даже восторг сдерживаются тревожной напряженностью, ежесекундной готовностью прийти на помощь. В принципе «Гагарин» может управляться одним человеком, может управляться электронным мозгом, который поведет его строго по программе, а в случае каких-либо отклонений проанализирует причины их возникновения и мгновенно, несравненно быстрее, чем любой, самый опытный пилот, найдет наиэффективнейший путь к устранению любых неполадок. Но сейчас их руки на пульте корабля, сейчас, когда он делает первые шаги, они словно поддерживают его. Внимательно следит Седов за тем, как бьется магнитоплазменное сердце. Раздолин помогает ему за дублирующим пультом управления в главной физической лаборатории. Люк, сейчас задраенный, соединяет физическую лабораторию со шлюзовой камерой, отсюда же через переходный отсек можно попасть в «Мэйфлауэр» — посадочный модуль, маленький кораблик, который должен был сесть на Марс.

За пультом СЖО (системы жизнеобеспечения)— Анзор Лежава. Белую госпитальную чистоту биомедицинского комплекса приятно разнообразит зелень маленьких оранжерей. Среди них — клетки с подопытными мышами и морскими свинками, многие из которых, уже освоившись с невесомостью, сидят на решетках потолка или смешно кувыркаются. В сталь-

ных зажимах укреплены шарообразиые аквариумы с рыбками, и газовые пузырьки иагнетаемого в них воздуха ие стремятся, как обычио, с веселым журчанием вверх, а кружатся серебристым хороводом.

Майкл Леииои, коитролирующий работу автоматического штурмаиа, иаходится в обсерватории «Гагарина», которая отличается от других помещений большими размерами иллюминаторов и приборами, словно пронзающими ее стены. Леннон сидит — как бы точнее сказать? — на боковой стене, если считать, что кресло Лежавы укреплеио иа полу. Ведь в «Гагариие», предиазиачавшемся только для траиспплаиетиых перелетов, собраином иа орбите искусственного спутиика и ие ведающем, что такое тяжесть, а зиачит, и такие поиятия, как «верх» и «ииз», иекоторые рабочие места, входы и выходы расположеиы, по нашим земным представлеииям, весьма странным образом. Земная жизнь приводит, естественно, к плоскостной архитектуре: невозможно, ска-

жем, жить в комнате со скошенным полом. В земных коридорах двери идут направо и налево. В «Гагарине» шесть кают экипажа расположены вокруг широкой трубы — коридора. Если все космонавты пристегнутся к своим постелям, окажется, что каждый из них по отношению к кому-то другому спит «вниз головой»... Смысл прямоугольной планировки теряется в этом мире. Поэтому большая кают-компания имеет идеальную для невесомости форму — шара. Единственная магнитная ножка кресел, двигаясь по внутренней поверхности шара-комнаты, может занимать в ней любое место. Поэтому в своей обсерватории Леннон работает сидя «на стене».

«Гагарин» лег на курс к таинственному излучателю. Седов откинулся в кресле, потер кулаками глаза, потом тронул кнопку внутренней связи и сказал весело:

— Экипажу перейти на автоматический режим. Спасибо за работу. Вахтенный в командном отсеке — Стейнберг. Остальных прошу на обед...

Из разных отсеков и лабораторий в шаровую кают-компанию «сплываются» к столу космонавты. По дороге они достают из встроенных в стену холодильников пакеты и тубы с едой, опускают их для подогрева в углубления на столе.

Раздолин включает электромагнит стола, тем самым закрепляя на нем вилки, фольгу туб и пакетиков.

— Из всех человеческих свобод самой большой борьбы за себя требует свобода мысли, — говорит Редфорд, отсасывая из тубы гороховый суп. — Нам, летящим к «Протею», так же трудно представить себе иную психологию, иную логику, как несколько лет назад конструкторам трудно было представить, что комната-шар — самое удобное помещение для жизни в невесомости.

— Но почему ты говоришь все время об иной логике и иной психологии? — возражает Раздолин. — А если все у них так же, как у нас?

— А если все, как у нас, — отвечает за Редфорда Седов, — какого же черта они прилетели и гудят во все тяжкие? Если бы ты полетел на другую планету, ты бы разве гудел так?

— Ребята, — перебивает всех Лежава, — а может быть, это гудение — все-таки какой-то рассказ, какая-то информация?

— Но ведь этот англичанин, — отзывается Седов, — забыл его фамилию...

— Когуэлл, — подсказывает Леннон.

— Да, да, Когуэлл. Ведь он же доказал, что никакой модуляции ни по частотам, ни по мощности нет. Представь толстую книгу без единой буквы — чистые листы. Вот это и будет сборник их рассказов.

— А я убежден, что в этой монотонности закодировано что-то, — не соглашается Лежава. — Иначе надо признать...

Биолога перебивает голос Стейнберга из динамика внутренней связи:

— Командир! Я третий. Получается, что мы стоим, а в то же время мы вроде летим... Ничего не понимаю...

Люди в кают-компании замолкли. Седов нажимает одну из кнопок на столе и говорит:

— Я первый. То есть как стоим? Как мы сможем стоять?!

— Ну, получается, что мы не летим вперед, — говорит Стейнберг нерешительно.

— А куда же мы летим? — спрашивает Редфорд.

— Куда-то летим, но не навстречу ему, — недоумевает Стейнберг.

— Погоди, сейчас разберемся...

Они дружно и быстро ныряют в широкий люк, ведущий в командный отсек.

— Мы летели навстречу излучателю, и он был нашим главным пеленгом. Чем мы ближе, тем он слышней — это понятно, — объясняет Стейнберг, когда все космонавты собрались перед пультом. — Вот смещение по частотам за счет нашего движения.

— Эффект Допплера, — говорит Седов.

— Он самый, — продолжает Джон. — Уровень рос. — Он нажимает кнопку, и на одном из маленьких экранов появляется яркая зеленая линия, медленно и ровно текущая в гору. — Вот что было. Потом получилось вот что... — Стейнберг нажал еще одну кнопку, и линия прекратила свой подъем, некоторое время шла ровно, а потом начала медленно и полого ползти вниз. — Получается, что мы вот тут остановились, — Джон ткнул пальцем в график, — а потом полетели куда-то в сторону от излучателя.

— Что показывает земной лазерный пеленг? — быстро спросил Редфорд.

— Что мы уходим от Земли точно по штатной программе. — Стейнберг кивнул на другой экран.

— Все понятно, — вдруг говорит Леннон, всплывая над спинками кресел. — Ответ единственный, но я отказываюсь в это верить! Ребята, неужели это правда?!

Зал центра управления полетами ИКИАНа. На большом, во всю стену экране горит схема: Земля, Луна, пульсирующая красная звездочка излучателя и белый кружочек, медленно ползущий навстречу к нему, — «Гагарин». Прыгают цифры на световых табло: «Полетное время», «Время Москвы», «Время Хьюстона», «Мировое время».

За рядами пультов — сменные дежурные. У пульта с табличкой «Технический руководитель полета» — Илья Ильич Зуев. Он повесил пиджак на спинку кресла, рукава белой рубашки закатаны по локоть, пуговка на шее расстегнута, и узел галстука приспущен. Вид у Зуева усталый, глаза покраснели, видно, что он уже много часов провел за этим пультом. Илья Ильич задумчиво отхлебывает черный кофе из маленькой чашечки, стоящей прямо на пульте. В зале атмосфера сонная, все идет по плану, и, как это всегда случается, если все идет нормально, напряжение первых часов полета «Гагарина» сменилось некоторой апатией. Поэтому неожиданный громкий и молодой голос звучит особенно резко:

— Внимание двадцатому, двадцать шестому и тридцать первому! Я сто седьмой. Обсерватория в Голдстоне докладывает: с 17.25.43 по мировому времени началось падение мощности сигнала излучателя со скоростью 183,3 киловатта в минуту. Падение стабильно продолжается уже четвертую минуту.

Зуев буквально подпрыгнул:

— Внимание сто седьмому! Запросите Голдстон: наблюдается ли смещение координат излучателя?

— Принято.

— Ну, дела! — выдохнул Зуев. — Неужели улетают?! Именно сейчас! Черт возьми! Но с какой же скоростью надо лететь, чтобы в минуту терять 183 киловатта? Это же уму непостижимо! Стояли, стояли и вдруг рванули!

— Я сто седьмой. Координаты излучателя не изменились. Данные Голдстона подтвердили Паломар и обсерватория в Каракасе.

— Принято, — радостно сказал Зуев. — Спасибо, сто седьмой! Внимание сороковому! При программной скорости «Гагарина» и постоянном падении мощности излучателя какой будет мощность в момент подхода? Жду.

Зуев тронул клавишу на лульте и сказал негромко по-английски в маленький микрофон:

— Кэтуэй! Это я! Как тебе нравится?! Они замолкают! Ты лредставляешь?

— Надо сообщить ребятам,— отвечает с маленького экрана на пульте Зуева Кэтуэй.

— Уверен, что они уже заметили это!

— Услокой их.

— Сейчас, только лолучу прогноз.

— Внимание двадцатому! Я сороковой. При заданных условиях и расчетной скорости «Гагарина» на расстоянии ста метров от излучателя мощность будет равна нулю.

Зуев снова лодлрыгнул:

— Они таким образом дают нам режим причаливания! Черт побери, ну, дела!!!

Все в зале лришло в какое-то озабоченно-радостное движение. Уже и тени прошлой апатии здесь нет. Сообщение о том, что излучатель, так неизменно и бесстрастно работавший все эти сумасшедшие недели, замолкает, всколыхнуло всех.

— Внимание на циркуляре! Внимание всем службам! «Гагарин», я двадцатый! Внимание, «Гагарин»!

— Двадцатый, я «Гагарин», слушаем вас,— раздается голос Седова.

— Началось ладение мощности излучателя. С 17.25.43, повторяю: с 17.25.43 мощность падает на 183,3 киловатта в минуту. По нашим расчетам, когда вы подлетите к нему, он должен замолчать совсем. Как лоняли меня?

— Все поняли. Мы это раньше поняли. У нас шестой отличился, все сразу усек.

— Мои поздравления шестому. Ребята! А ведь, похоже, вас заметили, следят за вами и понимают, что вы летите к ним. Вы понимаете, как это важно?! — Зуев в окружении молодых инженеров и ученых Центра. Он очень взволнован. Обнимает за плечи двух стоящих рядом с ним операторов и говорит, почти кричит: — Поймите, поймите, ребята! Возможно, мы переживаем сейчас поворотный момент в истории человечества! Запомните эти минуты! Все запомните: всех этих людей, логоду, кто в чем одет, как кофе лили, запомните! Запишите в дневники! Ведь лотомки, дети, внуки наши, слросят нас: а как это все было?..

— Все,— говорит Седов, обернувшись к друзьям, окружившим его в командном отсеке.— На сегодня хватит лриключений. Вахта Раздолина. Остальным всем слать. Завтра у нас трудный день.

Космонавты ллывут к выходу. Редфорд задерживается, смотрит в иллюминатор и, не оборачиваясь, говорит задумчиво Раздолину:

— Посмотри, какая необыкновенная Луна сегодня... И вообще, Юра, как много в этом мире всякой красоты...

31 октября, пятница. Земля—Космос.

Утро. Впрочем, какое утро?! Просто начало следующего рабочего дня на командном пункте «Гагарина». А начался день с новых загадок.

— Ничего не понимаю,— говорит Седов Редфорду.— Ведь солнечные лучи должны сейчас освещать «Протей», а вместо этого видна какая-то темная непонятная глыба.

В черной бездне неба по затененным звездам угадывается некий темный продолговатый предмет, без каких-либо выступов, острых углов, надстроек, антенн, без всех разнообразных больших и малых деталей, уже лривычных для космических кораблей землян. Этот темный предмет очень медленно лриближается, чуть разворачиваясь.

— «Гагарин»! Почему вы молчите? Рассказывайте же наконец, что там у вас,— раздраженно говорит Зуев.

Стоящий у его пульта генерал Самарин кладет руку на плечо академика:

— Илья Ильич, не торопи их...

— Трудно что-нибудь определенное сказать,— отзывается Раздолин.— Темное тело, цвет определить не могу. Форма тоже неопределенная. Нелравильный эллилсоид. Ну, полросту сказать, какая-то картофелина, Илья Ильич...

— Мне не нужны ваши «картофелины»! — раздраженно кричит Зуев.— Вы за 2 километра от объекта и не можете ничего путного сообщить! Вы можете хотя бы сказать толково, как он выглядит? Как он ориентирован? Что значит темный? Он не может быть темный!

— Но он действительно темный...— пробует возразить Раздолин.— Мы видим лросто силуэт...

— Илья Ильич! — резко перебивает геолога Седов.— Я прошу, чтобы Земля оставила нас в локое! Дайте нам самим разобраться. Мы ничего не можем вам сообщить просто потому, что ничего не видим сами.

— Но ведь солнце должно освещать его...— уже мягче лробует возразить Зуев.

— Должно. А оно не освещает! — почти кричит Седов.— Не желает освещать, и все тут! Нет ничего, темный ком за иллюминатором, понимаете?!

— Хорошо,— сухо говорит Зуев.— Я не задаю вопросов. Сами ведите репортаж.

Леннон лросматривает расчеты, только что законченные бортовым компьютером. Ерошит волосы пятерней в лолном недоумении и говорит самому себе:

— Но ведь этого быть не может!

С листиком в руках поплыл на командный пункт. «Причалил» за креслом Седова.

— Командир! Я лодсчитал. Раз мы ничего не видим, значит, он поглощает почти весь видимый слектр. Следовательно, у него какая-то невероятная отражательная слособность. Иисус Христос! Но ведь таких коэффициентов логлощения в природе не существует!!

Редфорд говорит Седову:

— А на Земле мы все гадали, откуда у него энергия... Отовсюду: от Солнца, от звезд, от Земли, от Луны. Он литается светом...

В своей лаборатории Лежава, наблюдающий в иллюминатор за непонятным объектом, взволнован не меньше Леннона.

— Я четвертый,— докладывает он на командный пункт.— Саша, понимаешь, какое дело, мне кажется, что он дышит...

— Как дышит? Что значит дышит? — подскакивает Седов.

— Ну, очертания его плывут, если приглядеться. Давайте лроверим по локатору, у него должно быть залисано в памяти.

— Локатор работает ллохо,— отзывается Раздолин.— Отраженный сигнал очень слабый, на пределе лриема...

— Но давайте все-таки попробуем,— предлагает нетерлеливо Редфорд.

На зеленоватом экране возникает дрожащий, нелравильный овал. Заметно, что его контур как бы слегка сдвигается то чуть наружу, то немного вовнутрь, как бы колышется, но очень медленно, плавно, почти незаметно.

Кают-компания «Гагарина». Здесь все, кроме вахтенного Лежавы.

— Почему такое полное безразличие к нашему появлению? — задумчиво говорит Раздолин, машинально перебирая пальцами похожие на пчелиные соты кнопки автоматической фонотеки. Врывается то мелодия «Болеро» Равеля, то звучит бархатный, низкий голос чтеца: «Роняет лес багряный свой убор, сребрит мороз увянувшее поле...», — то назидательно вещает лектор: «Выделение хилюсных клеток как особого элемента интерстициальной железы...»

— Юра, прекрати, я прошу тебя, — раздраженно говорит Стейнберг по-английски.

— А меня удивляет безразличие не к нам, — продолжает Леннон, — а к закону сохранения энергии. Берет энергию и ничего не отдает взамен. Накапливает? Как? Где? В таком ничтожном объеме? Пятиэтажный дом — ведь и тот больше, смешно сказать... Если бы еще...

Но слова астронома прерываются восхищенно-удивленным возгласом Лежавы, оставшегося на вахте в командном отсеке:

— Смотрите! Смотрите!

— По местам! — кричит Седов.

— Что у вас там? — с тревогой спрашивает динамик голосом Зуева. — «Гагарин»? Я двадцатый, доложите обстановку.

— Я четвертый. Все видно, все видно как на ладони, — говорит Лежава срывающимся от волнения голосом.

А в иллюминаторе происходят воистину волшебные превращения. То, что недавно было лишь расплывчатым, темным пятном, прямо на глазах начинает высвечиваться словно изнутри. Странное, серебристо-зеленоватое тело, висящее в космосе, меньше всего напоминает космический корабль. Это скорее увеличенная до невероятных размеров инфузория, гигантская модель микроорганизма, медленно, плавно пульсирующая, словно капля какой-то нерастворимой в пустоте жидкости. Эти движения — неправильные, не предсказуемые логикой предыдущего наблюдения, — не содержали в себе ничего тревожного, опасного и в то же время властно приковывали к себе взгляд, так что невозможно было оторваться от этой невероятной, едва ли даже во сне доступной космической фантасмагории.

15 ноября, суббота. Земля — Космос.

Зуев за большим круглым столом в кабинете Центра управления:

— ...и как итог, за прошедшие две недели мы имеем лишь весьма натянутое, более чем спорное уравнение энергетического равновесия. Мы не знаем по-прежнему, что это такое: обитаемый корабль или автомат. А мистер Уилкинс, — он кивнул высокому седому человеку за столом, — сегодня справедливо заметил, что это может быть вовсе не пристанище разумных существ, а одно разумное существо, само по себе живущее в космосе и путешествующее без всякой аппаратуры. Сколь это ни фантастично, но и такое может быть тоже. А почему нет?

— А почему да, Илья Ильич? — тихо говорит другой ученый, сидящий против Зуева. — Зачем нам все эти домыслы из фантастических романов? Нам нужны только факты, а не «мыслящие сверхамебы»...

Один из ученых говорит лениво, срезая острым ножичком кончик сигары:

— Давайте честно скажем друг другу: мы всё представляли себе несколько иначе. Мы говорили о контакте, а прошло уже 14 дней, и никакого контакта нет...

— Это мы знаем, — перебивает Зуев человека с сигарой. — У вас есть позитивные предложения?

— У меня даже негативных нет, — лениво говорит тот.

Затененный командный отсек «Гагарина». У пульта в кресле один вахтенный — Седов. Маленькие огни пульта чуть высвечивают его лицо. Сначала кажется, что он спит. Но это не так. Он думает.

— Саша... — Из сумерек люка выплывает Редфорд. — Это я...

— А, Алан, садись. — Седов встрепенулся. — Ты что не спишь?

— Я всегда плохо сплю в космосе.

Помолчали.

— Саша, мы все об этом думаем, но опять чего-то ждем, как тогда ждали в подводном доме. Я тоже военный человек и уважаю приказ, но ты же понимаешь, что надо действовать.

— Земля пока молчит, — говорит Седов.

— Что значит — молчит? — раздраженно говорит Редфорд. — Запроси еще раз!

— Зуев не тот человек, которого можно взять кавалерийским наскоком, ты знаешь это не хуже меня, — говорит Седов.

— Что он сказал? — спрашивает Редфорд.

— Он сказал по стандарту: «Гагарин» должен быть на связи и ждать распоряжений». Но, правда, сказал это не стандартным тоном.

— Самое глупое, что может сделать Зуев, — это советоваться с Кэтуэем, — проворчал Редфорд. — Я уверен, когда Кэтуэя рожала мама, он все равно сумел каким-то образом согласовать с конгрессом свое появление на свет...

Кабинет в Центре управления. Круглый стол ученых.

— Кэтуэй предлагает ждать, но я не понимаю, чего мы будем ждать, — горячо говорит Зуев.

— Но ведь ничто и не мешает нам ждать, — говорит человек с сигарой.

— Против этого трудно возражать. — Зуев пожимает плечами. — С другой стороны, ждать мы могли и на Земле. И экспедицию мы отправили не для того, чтобы ждать, а для того, чтобы разобраться, чтобы узнать и понять.

— И мы очень многое узнали, — говорит человек с сигарой. — Контакта нет: это тоже результат. В науке отрицательный результат — тоже результат...

— И опять мне трудно возразить, — все более раздражаясь, говорит Зуев. — Но я хочу спросить: что мне отвечать космонавтам? Единственное предложение, предполагающее действие, пока что исходит от них. Они ждут нашего разрешения уже третьи сутки.

— А кто возьмет на себя ответственность дать им такое разрешение? — спрашивает ехидно старичок в «академической» черной ермолке.

Пауза. И никто не смотрит друг на друга.

— Я, — негромко говорит Зуев. — Я возьму. Я имею на это полномочия моего правительства.

Все повернулись к нему.

— Это большой риск, Илья Ильич, — говорит старичок.

— Кто не рискует, тот не выигрывает, — это человек с сигарой.

Зуев резко оборачивается на последнюю фразу.

— Я не игрок, — говорит он раздельно и строго.

Шлюзовая камера «Гагарина». Редфорд и Лежава уже в скафандрах. Седов, Раздолин и Леннон вокруг них, что-то лолравляют, помогают надевать ранцевые ракетные двигатели, обминают скафандры — ведут себя, как родители, отправляющие в школу первоклассника лервого сентября.

— Ты подходишь и говоришь на чистом английском языке,— паясничая, говорит Раздолин Редфорду: — Прошу ко мне, в Техас...

— После того, как вы укрепите анализаторы, сразу назад, ни секунды промедления,— в который раз наставляет Лежаву Седов.— Мы не знаем реакции. Никаких облетов, никаких осмотров. Это приказ, Анзор.

— А лредставляешь, Анзор,— не унимается Раздолин,— они там внутри такие маленькие, лучеглазенькие, как лягушки. Столы накрыты, вас сажают, угощают. А вы одного хмельного лягушонка — цол в карман, и деру оттуда.

— А если нас самих в карман? — весело слрашивает Лежава.

Вся эта абракадабра, необходимая для нервной разрядки, идет как бы стороной, не касаясь того напряжения, которое чувствуют все: и те двое, которым предстоит выход в открытый космос, и те, которым предстоит ждать их в корабле.

— Ну, ладно,— выдохнул Редфорд, и все сразу лосерьезнели.— Пора...

Обнимаются, целуются. Голос Стейнберга из динамика:

— 18.00, командир. Надо начинать шлюзование...

— Мы идем,— откликается Седов.

Кэтуэй в холле отвечает на волросы журналистов:

— Я обещал, а я сдерживаю свои обещания. Итак, лринято решение о выходе двух космонавтов в открытый космос.

Голоса:

— Кто? Кто выходит?

Несколько человек уже рванулись к переговорным кабинам и в телетайпный зал.

— Алан Редфорд лервый лриблизится к излучателю, а затем Анзор Лежава установит на его ловерхности комплект датчиков. Выход назначен на 18. 30 ло бортовому времени. Леннон и Раздолин будут вести телерелортаж, который вы увидите с гостевого балкона нашего зала...

Потное от волнения лицо Седова у иллюминатора командного лункта. Он хорошо видит, как из шлюзовой камеры медленно выплывают две серебристые, похожие на рыбок фигурки. Редфорд, плывущий впереди, слегка помахал рукой, лриветствуя невидимых ему товарищей и миллионы телезрителей Земли. Чуть в стороне позади Редфорда — Лежава. Он держит в руках небольшой контейнер с датчиками.

— Все нормально, Алан,— очень тихо, лочти шелотом, говорит Седов в маленькую белую таблетку микрофона, укрепленную у самых губ.— Не торопись; все идет, как надо. Ты только не торопись.

— Я четвертый. Что-нибудь новое по объекту есть? — хрилловатым голосом слрашивает Лежава. Чувствуется, что ему не по себе.

— Вас лонял, четвертый,— быстро отвечает Раздолин со своего поста в физической лаборатории.— Никаких изменений. Ведет себя тихо.

— Кваканья не слышно? — снова спрашивает Лежава.

— Не понял...— Раздолин напряжен.

— Ты же говорил, что там лягушки,— весело говорит Лежава.

— Отставить, четвертый! — резко леребивает Седов. И добавляет мягко: — Анзор, не время. Ну, что ты, лравда...

Леннон бесстрастно:

— Расстояние между объектом и вторым тридцать один метр...

— Принято,— слокойно отзывается Редфорд.

Седов у иллюминатора хорошо видит, как все ближе и ближе подтягиваются к «Протею» невидимыми течениями реактивных струй две маленькие фигурки.

— Все хорошо, Алан,— шелчет он.— Не торолись. Видишь что-нибудь?..

— Это как жидкость,— отзывается Редфорд.— Словно калля масла в воде...

— Слокойно, Алан, тормози, ты плавно лодойдешь, но развернись на всякий случай...

— Я второй. Все лонял. Не волнуйтесь, у нас все очень о'кэй!

Редфорд медленно, словно пушинка в неподвижном летнем воздухе, лриближается к слабо лульсирующему телу излучателя и, вытянув вперед руки, смягчает и без того легкое свое лрикосновение.

— Есть контакт! — слокойно говорит Редфорд.

— Принято,— отзывается Леннон.

— Совершенно твердое тело,— докладывает Редфорд.— Ничего страшного...

Оттолкнувшись от «Протея», он ло инерции чуть отошел от его поверхности и развернулся в сторону медленно подплывающего Лежавы.

— Пятый, я первый,— быстро говорит Седов,— есть изменения в лараметрах объекта?

— Я лятый,— тут же отзывается Раздолин,— все ло-старому, никакой реакции.

Зуев на командном лункте весь сжался, съежился, словно изготовился для лрыжка. Он ничего не видит, он весь в телеэкране, где блестят на фоне излучателя две серебристые фигурки.

— Поверхность твердая,— звучит в зале голос Редфорда,— но в то же время лластичная... Не знаю, с чем сравнить... Представьте себе резину, очень твердую, которую растягивают и сжимают какие-то силы внутри,— говорит Редфорд,— но блеск, как у металла, и как будто...

— Назад! — резкий, как удар хлыста, крик Седова.

Прямо леред фигурками на слабо пульсирующем теле излучателя мгновенно образовалась широкая, стремительно углубляющаяся воронка. Края ее подались вперед, заключив внутрь себя обоих космонавтов, и тут же, сомкнувшись лозади них, распрямились, вновь тихо и плавно лульсируя. Там, где только что были космонавты, теперь не было никого.

Это лроизошло так быстро, что походило на фокус, оптический обман. И в лервое мгновение никто никак не реагирует на случившееся. Все как бы ждут чего-то, то ли обратного трюка, то ли какого-то лродолжения. Невозможно представить себе, что же произошло, именно из-за лростоты и быстроты: словно короткий глоток — и людей нет.

Как на лружине, вскочил бледный, с лерекошенным лицом Зуев.

Седов зажмурился и мгновение стоит перед иллюминатором с закрытыми глазами. Опять смотрит в иллюминатор — пустота. Ярко светящийся таинственный излучатель начинает быстро тускнеть, темнеть, логружаясь в черноту космоса, словно растворяясь в ней.

16 ноября, воскресенье. Земля — Космос.

— Академик Зуев считает, что было бы неверно расценивать реакцию излучателя только как агрессивную. Хотя немедленно приняты меры для возможного активного воздействия на космическое тело...— говорит с экрана телекомментатор.

Лия быстро пересекает комнату, снимает со шкафа чемодан, начинает рассеянно укладывать вещи.

— Ты куда? — поднимает голову отец.

— В Москву,— говорит она совсем спокойно.

— Зачем?

— Не знаю...

Она садится рядом с чемоданом, перекладывает что-то, вдруг вскакивает, кидается к отцу, обнимает его.

— Папа, папочка, ну что же это такое? Ужас, ужас какой-то! Что это?

— Успокойся.— Он гладит ее по голове.— Я не знаю, что это. Откуда мне знать? Вот вернется Анзор и расскажет.

— Он вернется?! — Вопрос вырывается, как крик.

— Обязательно. Анзор обязательно вернется. Я знаю.

— Откуда?! Как это можно знать?

— Знаю... Сядь. Сейчас чай будем пить.

Он идет на кухню, ставит чайник под струю, бегущую из крана. Вот уже чайник полный, из носика течет. Старый человек стоит, закрыв руками лицо.

Мать Седова сидит на краю стула у маленького письменного столика в доме заведующей клубом Любови Тимофеевны, той самой, которая во время торжественной встречи Александра Матвеевича дирижировала оркестром. Любовь Тимофеевна кутается в платок, неотрывно смотрит на телеэкран.

— Тимофеевна,— говорит мать Седова, теребя в руках мокрый платочек.— Ты грамотная, объясни мне, глупой, что это? Я ничего не пойму... Где этот грузинец? Куда они оба девались? Может, оно их съело? А Шура как же? Я ведь Шуру знаю, он ведь их вызволять полезет теперь. Господи, прости ты прегрешения наши...

Зуев перед журналистами:

— А теперь я готов ответить на ваши вопросы.

Вскакивает молодой человек с блокнотом.

— Газета «Юманите». На сколько часов автономной работы рассчитаны системы жизнеобеспечения скафандров?

— На восемнадцать часов...

Журналист смотрит на часы.

— Таким образом, в 3 часа 30 минут их ресурсы должны иссякнуть?

— Да, примерно так,— говорит Зуев.

Обсерватория Леннона на «Гагарине». У ее больших иллюминаторов собрались все четверо оставшихся на корабле. Нетерпеливое ожидание товарищей, отсутствие каких-либо обоснованных надежд на их возвращение — все это создает атмосферу предельно тягостную.

— Мы теряем время,— резко говорит Раздолин.— Чем меньше у нас времени, тем меньше возможностей.

— Что ты имеешь в виду? — спрашивает Леннон.

Стейнберг выплевывает жвачку и отвечает за Раздолина:

— Ты понимаешь, что он имеет в виду. И все понимают, но не хотят говорить об этом. Их надо выручать. Я привык выручать своих товарищей, когда они в беде, понимаешь?

— Но как? — спрашивает Леннон, невидимый в тени на потолке.

— Не знаю, как! — горячится Раздолин.— Но он прав,— кивает на Стейнберга.

— Нет, ты знаешь! — резко поворачивается Стейнберг.— И все вы знаете, но вам говорить об этом не хочется. Вы же гуманисты. А я скажу. Надо взять лазерный бур с «Мэйфлауэра» и вскрыть эту штуку к чертовой матери, как консервную банку!

— Прекратите истерику немедленно,— спокойно и твердо говорит Седов.— Мне стыдно за тебя, Джон. И, главное, хороша твоя психология: раз я не понимаю, надо хвататься за пистолет. Вспомним сорок восьмой — сорок девятый годы... И представьте себе, что тогда у наших дедов не хватило бы разума и терпения.

— О каком разуме ты говоришь сейчас? — перебивает Раздолин.— Где тут разум?

— Уже то, что «Протей» погас,— спокойно объясняет Седов,— а значит, вновь собирает энергию, говорит о том, что она ему нужна. Зачем? Возможно, для проведения каких-то исследований, для выбора вариантов контакта...

— Когда муравей залезает тебе за шиворот, ты давишь его пальцем и выбрасываешь, а не выбираешь варианты контакта,— зло говорит Стейнберг. В синих подсветах чуть мерцающих панелей аппаратуры обсерватории его лицо кажется мертвенно-бледным.

— Я верю и хочу, чтобы ты верил: речь идет не о муравьях,— спокойно отвечает Седов.— И наше уверенное ожидание, наша выдержка и терпение — это тоже проявление высшего разума.

— Может быть, у меня мало твоего «высшего разума»,— отвернувшись к иллюминатору, говорит Стейнберг,— но ресурс регенераторов в СЖО еще меньше...

— Я прошу тебя — иди, отдохни,— тихо и ласково отзывается Седов.

— Правильно,— свирепея еще больше, говорит Стейнберг.— Я буду спать, а они — задыхаться!

Седов прерывает его резко:

— Я не прошу, а приказываю вам прекратить эти разговоры!

Все молчат.

Центральный зал управления полетом. У своего пульта — Зуев с лицом измученным и непроницаемым. Рядом с ним — Самарин.

— ...И все-таки мы обязаны попробовать изобрести еще что-нибудь. У нас есть час,— продолжает разговор Самарин, взглянув на табло, где неумолимо и бесстрастно менялись светящиеся очертания секунд и минут.

— Мы сделали все, чтобы они поняли: мы за продолжение контакта,— говорит Илья Ильич.— «Гагарин» приблизился еще на 50 метров. Мы передали телеизображение автомата жизнеобеспечения, дали в двоичной системе предельный ресурс его работы, показали схемы атомов кислорода и азота. Мы использовали все возможные, спорные и бесспорные виды связи. Мы использовали все, что придумала наука за последние десятилетия для связи с внеземными цивилизациями. Нас уже поняли бы дельфины и мартышки...

— Спокойно. Мы пока разъясняли,— перебивает Самарин.— Это правильно. Но нельзя ли как-нибудь показать наше нетерпение, тревогу, наше недовольство, наконец?

На зкране телемонитора связн с Хьюстоном — лицо Кэтуэя. Он строг и официален.

— Мистер Зуев! Мы предлагаем в 03.35 бортового времени, то есть через 5 минут после того, как у Лежавы и Редфорда иссякнут ресурсы и их уже никто не сможет спасти, направить на излучатель лазерный бур «Мэйфлауэра». Мы предлагаем согласовать наше предложение с Советским правительством, президентом Соединенных Штатов и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций... Несколько месяцев они висят над нами, Илья,— говорит Кэтуэй уже неофициальным голосом.— Глушат нашу связь. Погибли самолеты, корабли. Мы летим навстречу, а они гробят наших ребят. Чего же еще ждать?

— Это страшное решение,— говорит Зуев.— Я никогда не уходил от решений, но сейчас нужно думать и думать... Я отвечу тебе через 10 минут...

Неподвижно висит в звездной бездне ярко освещенный солнцем «Гагарин». Рядом с ним темная масса излучателя. И вдруг она начинает быстро наливаться светом. Именно наливаться, словно внутрь «Протея» втекает какая-то лучезарная жидкость.

— Саша! — кричит Леннон, обернувшийся к иллюминатору, за которым теперь ясно было видно снова чуть пульсирующее тело «Протея».

Майкл не успел еще ничего добавить, а остальные — понять, как маленький, плавно поднявшийся бугорок на этом теле вдруг разошелся, как бы лопнул, и рядом с излучателем, тихо вращаясь в невесомости, зависли две маленькие фигурки.

— Второй! Четвертый! Я первый! Вы слышите меня? — кричит Седов.

— Я второй,— отвечает Редфорд так спокойно, как будто он вылез из тренажера.— Слышим хорошо, можешь даже чуть тише говорить...

Да, конечно, он понимал, как ждал мир его слов, и сейчас самим голосом своим и этой столь обыденной «телефонной» фразой он успокаивает родную планету и своих друзей.

— Все в порядке, а как у вас? — спрашивает Лежава.

— Ребята! Ура! — кричит Седов. Лицо его мокро от слез.

Все четверо бросаются друг к другу и, свившись в какой-то причудливый клубок, медленно вращаются посреди обсерватории в немыслимом хороводе невесомости.

Несущиеся со всех ног в телетайпный зал журналисты выбивают поднос с черным кофе из рук хорошенькой девушки в белом крахмальном переднике и кокошнике.

Редфорд и Лежава сидят в кают-компании «Гагарина» перед микрофонами и телекамерами, перед четырьмя своими слушателями.

— Поверьте,— говорит смущенно Лежава,— самое смешное, замечательное или ужасное заключается в том, что мы ничего не можем рассказать. Это было как сон, очень приятный, покойный сон, разве что в детстве мы спим так сладко... Сны? Да все время... Но как это рассказать... Мы не видели никого, кого можно было бы назвать живым существом, пусть даже совершенно не похожим на нас. Мы не видели предметов, которые сохранили бы на себе следы искусственного происхождения...— Он говорит медленно, с трудом подбирая слова.

— И вместе с тем,— добавляет Редфорд,— мы всем своим существом ощущали некий умственный контакт с различными — как бы это объяснить?..— телами... Точнее — объемами, которые плотно нас окружали, меняя свои размеры, формы и освещенность.

— Эти объемы — живые существа? — спрашивает Седов.

— Не знаю,— рассеянно говорит Лежава.— Может быть. Мы чувствовали их заботу, их внимание, правда, Алан?

Редфорд кивает.

— Мы были совершенно спокойны почему-то, совсем не волновались, верно?

Редфорд опять кивает и говорит:

— Я не знаю, есть ли там живые существа, но это разум...

Зуев говорит звонко и раздельно:

— Экипаж «Гагарина» поздравляем с успешным выполнением намеченной программы. Принято решение: немедленно отойти от «Протея» и взять курс на «МИР-4». Ждем вас на Земле, друзья!.. Как слышите меня, «Гагарин»?

Весь экипаж космического корабля — на командном пункте. Приказ Зуева слышали все, но Седов не отвечает. И никто не отвечает.

— Вы слышите меня, «Гагарин»? — вновь переспрашивает академик.— Я двадцатый. Прием...

— Мы слышим, Илья Ильич,— спокойно говорит Седов.— Только нам сейчас никак нельзя уходить... Помните, перед стартом вы говорили мне, что даете право принимать единоличные решения в случае необходимости. Так вот, такая необходимость есть. Мы не можем уйти. Контакт — это только начало, поверьте нам. Я, мы все,— он оборачивается к друзьям,— поняли это. Мы верим в это. Все еще впереди.— Он обводит глазами своих друзей, как бы ища в них поддержку, и встречается с уверенными и ясными взглядами Алана Редфорда, Юрия Раздолина, Майкла Леннона, Анзора Лежавы, Джона Стейнберга — членами экипажа межпланетного корабля «Гагарин», людей с планеты Земля.

Светится пульсирующий «Протей». Два человека снова плывут в открытом космосе. На плече одного из них — маленький звездно-полосатый флажок, а у другого — красный, с серпом и молотом. За светофильтрами шлемов нельзя разглядеть лиц Александра Седова и Майкла Леннона. Но это они летят в космосе. Все ближе и ближе светящаяся поверхность инопланетного корабля, на котором уже заранее, словно призывая их, возникла, закружилась волчком, все расширяясь, растягиваясь, широкая воронка, готовая принять людей, поверивших в Добро и Разум.

Баку — Хьюстон — Москва.
Июнь 1972 г.— ноябрь 1975 г.

Михаил Беляев

Лежневка

На лежневке,
Как подковки,
Срезы частые сучков.
Срезал их, наверно, ловкий,
И веселый, и высокий
Из таежных плясунов.

И торопко
И негромко
Сбрил пилою на ходу,
Словно с пляской ненароком
Шел, к восходу правым боком,
У любимой на виду.

И такую,
Золотую,—
Как лежневку не любить!
Ах, по ней, не озоруя,
Быстроглазых не целуя,
Невозможно проходить!

Чуть забота
За ворота
Кликнет, дело так пойдет —
Только квакает болото
Под лежневкой желторото,
Комарами обдает.

По болоту
К пароходу
Свадьба льется из села.
Той лежневке нету году!
...Ни в какую непогоду
Никого не подвела.

Дятел

Дробно бьющий,
Поющий дятел
Нынче словно с ума ты спятил.
Облетел сто сухих берез,
Огласил
Сто квадратных верст.
На стволах громкозвучных вис
Головою кудлатой
Вниз.
В черно-белом
Своем кафтане
Ты подругу зовешь на свиданье.
Где подруга!..
Светло давно.
Бьешь, как тростью гремишь в окно.

Ранний дымок

Под месяцем ясным, поющим в рожок,
Проклюнулся весело ранний дымок.
Над пышным туманом, над вольной
долиной
Светло потянулся к звезде воробьиной.
Трепещет, готовая скрыться, звезда.
И манит дымок молодой высота.
И он, спотыкаясь о ветры спросонок,
Спешит — озаренный рассветом ребенок.
Он прыгнул к звезде над родимой трубой
И слился с прохладной земной высотой.
И как на ухоженном нежном барашке,
На нем заиграли от ветра кудряшки.
И, ранний дымок заприметив с утра,
Посыпалась к партам своим детвора.

Мать

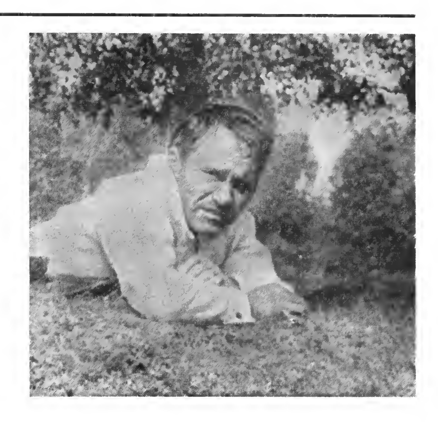
К тихой рощице этой,
Где зорянка поет,
Мать, сурово одетой,
Издалека идет.
Подойдет она к тыну,
Сядет под осокорь.
Тихо склонится к сыну.
Неутешная скорбь...
Поглотило пожаром
Не его одного.
Что ей видится, старой,
У могилы его!
Может, вспомнит, как светом
Сон боялась вспугнуть,
Стрекозиное лето,
В школу радостный путь...
Сын не вышел из зноя
Вселапимых боев...
И оставьте в покое,
Не тревожьте ее.
Ни участливым словом,
Ни вопросом каким.
Дайте молча о многом
Побеседовать им.
Дайте волю святому
Их дыханью сойтись,
Коль свиданья иного
Не позволила жизнь.
К дому холмик тяжелый
Не зовет, тороля.
Видит сына веселым
В поле возле себя.
Вот спешит он к колодцу,
Окликает в пути...
Сына, сына по солнцу
Продолжает вести.

Вешние воды

Зашумела, заиграла
Бурно талая вода:
И долина тесной стала,
И легки кружала льда.
Все долинное в разоре —
И деревья и пути.
Словно вдруг решило море
Руслом Ливенки пройти.
Ох, недаром между пашен
Воды вешние кипят:
В моряки уводят наших
Лучших ливенских ребят!

Борис
ПАНКИН

ВАСИЛИЙ ШУКШИН И ЕГО «ЧУДИКИ»



В. Шукшин. Одна из последних фотографий.

Один из рассказов Василия Шукшина так и называется «Чудик». Не самый заметный, пожалуй. Но, перебирая, словно бусинки четок, их названия, на этом останавливаешься невольно. «Ужели слово найдено...»

Впрочем, в словаре Ушакова такого слова не найдешь, тем более у Даля. Это — детище нашего времени, наших дней. Зато есть в словарях другое, корневое слово «чудо», ведущее, наверное, свою родословную еще с языческих времен. Слово, которым народ наш испокон века обозначал самое знаменательное и самое таинственное в жизни, самое радостное, светлое, чудесное и самое отвратительное — чудовищное...

Ну, а чудик... Этой меткой люди весьма легко и беззаботно наделяют друг друга в повседневной жизни... Тут слышится и насмешка, и снисходительное любование, и пренебрежение, и восхищение... Словом, совсем как в рассказах Шукшина, где чудиком слывет не один только герой одноименного рассказа, написанного еще в 1967 году,— неловкий, доброжелательный до неправдоподобия, при этом — застенчивый, уступчивый и гордый, несчастный и неунывающий... Такой же, например, чудик в глазах окружающих — столяр при «Заготзерне» Андрей Ерин, который, приобретя в сельпо микроскоп, объявил войну всем микробам мира. Или Моня, по паспорту Дмитрий Квасов, совхозный шофер, двадцати шести лет от роду, который потому именно замыслил создать вечный двигатель, что вычитал в книгах, будто двигатель такой невозможен. Это, наконец, да нет, далеко не наконец,— Николай Николаевич Князев из райгородка Н., мастер по ремонту телевизоров, который у себя на дому восемь общих толстых тетрадей исписал трактатами «О государстве», «О смысле жизни» и «О проблеме свободного времени».

Есть у Шукшина рассказ, где чудинку в характере героя он связывает даже с мастью, так сказать, человека. Рассказ этот — о встреченном еще в далеком, прошедшем на Алтае детстве,— вот откуда она ведет начало, эта его приметливость к людям с «пунктиком» — рыжем шофере, который со многими приключениями вез паренька домой по Чуйскому тракту. «С тех пор я, нет-нет, ловлю себя на том, что присматриваюсь к рыжим: какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе... Очень они мне нравятся».

Есть в рассказах Шукшина и другая порода людей, те, кого следовало бы, пожалуй, назвать... античудиками, чудиками наоборот. В их поведении, характере тоже заметно то, что в рассказе «Психопат» Шукшин называет «сдвинутостью». Только сдвинуты эти люди совсем в другую, дурную сторону. «Античудики» — непревзойденные мастера творить зло, пусть мелкое, пусть бессмысленное, бьющее прежде всего по ним же...

Творят они его с истинно творческим азартом, артистически, с упоением. Таков «непротивленец Макар Жеребцов» из одноименного рассказа, который всю трудовую неделю, работая в селе почтальоном, «ходил по домам и обстоятельно, въедливо учил людей добру и терпению. Учил жить — по возможности весело, но благоразумно, с «пониманием многомиллионного народа», а по воскресеньям, наоборот, сидя перед собственным домом на скамеечке да выпив «с утра рюмочку-две, не больше», советами подбивал тех же людей, своих односельчан, на всякие пакости друг против друга. «Чудной ты мужик, Макар»,— го-

ворили про него в селе. И спрашивали: «Почто, например, ты то одно людям говоришь, то другое — совсем наоборот? Чего ты их путаешь-то?»

— Не для этой я жизни родился,— искренне вздыхал в таких случаях Макар.

— Для какой же?

— Сам не знаю. Вот говоришь — путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жалеть или издсмехаться над ними... Мне бы в большом масштабе советы-то давать, у меня бы вышло».

Невинные вроде бы забавы и вреда большого не приносят, поскольку люди в деревне давно уж раскусили этого доморощенного Мефистофеля. Но как раздумаешься над тем, что действительно дорвется какой-нибудь другой такой со своими советами до «больших масштабов», и холодок бежит по спине.

Впрочем, пересказывать, толковать рассказы Шукшина — каждый в отдельности — задача неблагодарная. Они, рассказы, как ежик, который при любой попытке потрогать его, моментально сворачивается колючим мячиком, и только иголки во все стороны торчат. Попробуй перескажи, например, историю с микроскопом или с тем же вечным двигателем — выйдет анекдот. Или рассказ «Сельские жители» — сын уехал в город, устроился там, зовет мать к себе погостить, вот она сидит с внуком и «отписывает» ему: приеду, мол, только не сразу после Нового года, а поближе туда к осени... Получается самая обыкновенная, чуть ли не банальная история.

Мне кажется, что даже самому автору эти пересказы — для кино, например,— не всегда удавались.

Судить о картине жизни, которая возникает из-под пера его, плодотворнее, представив себе рассказы как нечто единое, цельное.

Для Шукшина труднее, чем для кого-либо из современных советских писателей, пишущих о деревне, найти исчерпывающее определение его реализма (лирик? сатирик? бытовик?). Он не поддается классификации, ему невозможно присвоить порядковый, так сказать, номер. Он сам — точка отсчета.

И проще и соблазнительнее всего было бы сказать, что секрет обаяния шукшинского творчества в том, что у него все как в жизни и ничего от литературы. С точки зрения строгого литературоведения рассказы Шукшина — это не рассказы даже, а именно пересказ разных деревенских историй, курьезных, печальных и трагикомических случаев, портретные зарисовки... И в то же самое время мир, в который вводит нас Шукшин, не сколок с окружающего, не фотография, пусть даже самая талантливая. Мы ясно видим, что перед нами — вторая действительность, реальность, созданная воображением писателя. Да все как в жизни, но такой мы нашу деревню не видели. И не могли видеть. Такой ее открыл Шукшин. Это — его открытие. На открытия, оказывается, и в наши дни способна не только наука.

Как это ни странно, с открытиями, откровениями искусства, литературы люди свыкаются куда медленнее и мирятся совсем не так послушно. А ведь наука и искусство, научное и художественное творчество — это две равноправные формы познания. Каждая — со своим голосом. Причем язык искусства, литературы, как более доступный самым широким массам, способен, а часто так и случается, как бы предуготавливать их к восприятию научной истины. Так я думаю, изобразительное искусство, переходя за века своего развития от одного этапа к другому, исполняя основное свое эстетическое назначение, еще и призывало воинствующий в своем консерватизме человеческий глаз заглянуть за грань очевидного, привычного, приучало видеть физический мир объемным, движущимся, парадоксальным, таким, каким предстояло ему явиться в формулах и схемах Эйнштейна, Циолковского, Лобачевского...

Кому не известно замечание о том, что романы Бальзака дали Марксу для анализа капиталистического способа производства во много раз больше, чем все ученые сочинения экономистов и философов той же эпохи, вместе взятые. Широко известны также слова Ленина о роли и значении творчества Льва Толстого и Щедрина для анализа экономического, социального, психологического укладов жизни пореформенной, послекрепостнической России.

Обращаясь с этой точки зрения к советской литературе, мы справедливо вспоминаем об Овечкине, о Мариэтте Шагинян и многих других писателях, книги которых часто предрешали подход к той или иной экономической, хозяйственной, организационной проблеме. Кажется, что творчество Шукшина невозможно поставить в этот ряд. Ведь ни в одном его рассказе и намека не встретишь на «постановку», как мы привычно выражаемся, «вопроса». Ни в авторских отступлениях, ни в речи героев не найдешь прямых обращений к каким-то политическим, экономическим событиям в жизни деревни. В центре художественного видения Шукшина не проблема как таковая, пусть даже и опосредствованная через судьбы, а человек. Но человек этот каждый раз столь конкретен, возникает так зримо, с массой таких снайперски точных бытовых и психологических деталей, что нам никогда не нужно заглядывать на последнюю страницу рассказа, чтобы узнать, когда он написан, к какому времени относится.

Да, в поле зрения Шукшина прежде всего человек. Его жизнь. И тут необходимо оговориться, что предложенное выше деление его героев на «чудиков» и «античудиков» носит, конечно же, условный характер. На самом деле они, как и рассказы, не поддаются классификации. Каждый сам по себе, на свой манер, совершенно индивидуальная фигура. Что же до чудинки, до сдвига, то и здесь корень творческой позиции Шукшина, его устой, это вовсе не особенность его героев. Это — то, что присуще, убежден, и справедливо убежден, Шукшин, каждому человеку вообще. Отличие одного от всех других, непохожесть — это и есть сущность человеческой натуры, семя, которое, однако, может дать пышные, добрые всходы, а может увять или развиться в условиях, которые делают из человека нравственного урода, пустышку. Шукшин не коллекционирует чудаков, а просто обнаруживает их в каждом, кого встречает на пути.

Есть у Шукшина страшной, трагической силы рассказ «Как помирал старик». Ровно четыре странички занял этот шедевр в последнем двухтомнике. Тема смерти старого человека не нова в нашей классической и современной литературе. А последнее время она как бы даже входит в обязательную программу каждого начинающего прозаика. И нередко решается творчески плодотворно. Финал жизни человека становится в таких случаях для писателя поводом изобразить широкие картины жизни деревни и города в их извечном взаимодействии и противоборстве, служит исходным пунктом для философских, социальных, психологических обобщений. У Шукшина все скромнее, непритязательнее. Как проста была жизнь старика, так проста и незаметна его смерть, описанная автором самыми простыми, обиходными словами. Но от этой непридуманной

манной простоты кровь леденеет в жилах. Вот пример, когда высказанное и невысказанное, видимое и невидимое переплелись, вросли друг в друга с какой-то устрашающей силой.

Вчитаемся, вслушаемся в последний, предсмертный диалог старика и старухи.

«— Степан! — позвала старуха.

— Мм?

— Ты не лежи так...

— Как не лежи, дура? Один помирает, а она — не лежи так. Как мне лежать-то? На карачках?

— Я позову Михеевну — пособорует?

— Пошли вы!.. Шибко он мне много добра сделал, ваш бог. Курку своей Михеевне задарма сунешь...

— Да ты что уж, помираешь, что ли? Может, ишо оклемаешься.

— Счас — оклемался. Ноги вон стынут...»

Отвлечемся на минуту от обстановки, от атмосферы этой одинокой, запущенной и снаружи и изнутри избы.

Уж не клоунада ли это, не реприза ли двух радиостарух, потешающихся друг над другом и над публикой,— столь мелко, никчемно, пусто, кляузно то, что мы слышим из уст старика, знающего точно, что он умирает, в его смертный час. Но нет, сказанное стариком и переданное художником — достоверно. Оно находится в какой-то угнетающей душу гармонии со всем тем, что еще скажет, почувствует, переживет старик до и после этих вот слов, в самую свою смертную минуту.

Тело и мозг человека прощаются с жизнью. Тело раньше ощутило приход неизбежного: «Ноги вон стынут...» Мозг же и душа еще сопротивляются, еще жива и вспыхивает память и о заботах и радостях земных, об обидах ближних.

«— Дай разок курну,— попросил старик соседа, который зашел перенести его с печи на кровать... Затянулся и закашлялся. Долго кашлял...

— Прохудился весь... Дым-то, однако, в брюхо прошел».

«— Лучше дай мне полрюмки вина,— попросил он чуть погодя старуху.— Может, хоть маленько кровь-то заиграет...».— Попросил и не преминул упрекнуть по привычке старуху, что, мол, «всю жись трясетесь над ей, а не понимаете: водка — это первое лекарство».

Хлебнул этого «первого лекарства» и чуть не захлебнулся. «Все обратно вылилось. Он долго лежал, белый, без движения. Потом с трудом сказал:

— Нет, видно, пей, пока пьется».

Да, тело уже отказало, но мозг, будто спохватившись, еще силится подвести итоги жизни. Старику «было трудно говорить. Но ему хотелось поговорить хорошо, обстоятельно.

— Перво-наперво: подай на Мишку на алименты. Скажи: «Отец помирал, велел тебе докормить мать до конца» Скажи: «Если он, окаянный, не очухается, подавай на алименты... Маньке напиши, чтобы парнишку учила...»

Старик устал и долго опять лежал и смотрел в потолок. Выражение его лица было торжественным и строгим».

Все это будет сказано буквально за минуты до того, как в мозгу придет пора произвести последние расчеты с жизнью. И тогда сдует, словно дуновением ветра, все — мелочные и реальные, призрачные и основательные — заботы и тревоги старика, и останется одно — встреча со смертью.

«...Ему еще что-то хотелось сказать, что-то очень нужное, но он как-то стал странно смотреть по сторонам, как-то нехорошо забеспокоился.

— Автюша,— с трудом сказал он,— прости меня... Я маленько заполошный был... А хлеб-то рясный-рясный!.. А погляди-ка в углу-то кто? Кто там?

— Где, Степан?

— Да вон! — Старик приподнялся на локте, каким-то жутким взглядом смотрел в угол избы — в передний.— Вон же она,— сказал он,— вон... Сидит-то?..

Егор пришел вечером...

На кровати лежал старик, заострив кверху белый нос. Старуха тихо плакала у его изголовья...»

Так на четырех страницах, на протяжении нескольких часов, в присутствии старухи да Егора свершается жизнь человека, приходит смерть, одна из многих в рассказах Шукшина. Чувству, которым мы проникаемся, трудно дать определение. Скорбь? Жалость? Пожалуй, все, вместе взятое. И жалость не к человеку даже, а к жизни его, этой жизни, которая ничего не накопила к концу своему такого, что бы можно было завещать остающимся. И скорбь наша не оттого, что старик «помер» — все умрут, а оттого, что жил не так, как мог, как должно было, как хотелось бы...

Можно только гадать, что же такое случилось однажды с этой жизнью, чем ее так переехало, что словно ветром выдуло, в ступе вытолкло ту самую чудинку, которая была, не могла не быть и в этом человеке, как и в каждом живущем на земле.

Что же? Может быть, то самое, что изуродовало судьбу шорника Антипа Калачикова из рассказа «Один»?

Всю жизнь просидел этот человек в большом своем доме, где царил неистребимый крепкий запах выделанной кожи, вара и дегтя, в тесном рабочем уголке — справа от печки, за перегородкой, где он шил сбруи, уздечки, седелки, делал хомуты. Сидел и шил — скромный, незаметный, безропотный труженик, способный образом своей жизни умилить не одного наивного и сентиментального горожанина, будь то приезжий писатель или просто отпускник. У самого Антипа жизнь его не вызывала умиления. «Работал! А спроси: чего хорошего видел? Да ничего. Люди хоть сражались, восстання разные поднимали, в гражданской участвовали, в Отечественной... А тут как сел с тринадцати годков, так и сижу — скоро семисит будет...»

Не один абстрактные сожаления обуревают Антипа. Висит в рабочем его углу балалайка. «Это была страсть Антипа, это была его бессловесная, глубокая любовь всей жизни — балалайка». «Я, может, в музыканты бы двинул. Приезжал ведь тогда человек из города, говорил, что я самородок. А самородок — это кусок золота — редкость, я так понимаю. Сейчас я кто? Обыкновенный шорник, а был бы, может...» может...»

И не то Антипа беспокоит, что он «обыкновенный», шорник, а то, что всю жизнь занимался не своим делом, жил по чужой, хотя бы и по жениной, указке.

«— Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь только шил и шил? А у меня тоже душа есть...

— Плевать мне на твою душу.— И снова и снова ковыряет Антип старую болячку.— Мы могли бы с тобой знаешь как прожить! Душа в душу. Но тебя замучили окаянные деньги. Не сердись, конечно.

— Не деньги меня замучили, а нету их — вот что мучает-то,— привычно и простодушно отвечает ему жена».

И все, на что хватает протеста Антипа,— это выпросить у Марфы «на чекушечку», а под настроение — и на балалайку...

Так, может быть, именно неосознанный или даже осознанный страх перед такою вот жизнью, перед

таким, как у старика Степапа, финалом и движет чудиками и античудиками Шукшина?

Не особенные люди, а особенное в людях. Это не игра словами, ибо Шукшина действительно интересует не часть какая-то особая людей, как можно в общем-то предположить, а та частица в них, которая обычно бывает сокрыта от взора и на которую у этого писателя особый глаз. Это особенное в героях Шукшина связано, как правило, со стремлением как-то вырваться из заколдованного круга ежедневных забот и обязанностей, рядовых необходимостей. Связано со стремлением что-то противопоставить заведенному раз и навсегда ходу событий. Со стремлением показать себя, доказать что-то себе и окружающим — словом, подняться, восторжествовать над обыденностью, повседневностью.

Стремление это оборачивается, как мы видели, разным — порой серьезным, порой причудой, порой уродством, издевательством над собой и ближними. Но оно есть всегда. И заявляет о себе как поступками, так и словами. Герои Шукшина много и естественно рассуждают о смысле жизни, о своем месте в ней, о том, что было до них и что будет после. Многие, подобно Сильченко из рассказа «Штрихи к портрету»,— «ушибленные общими вопросами».

Стремление это — доказать, показать себя, как правило, остается неудовлетворенным. Не выходит у Мони Квасова с вечным двигателем, микроскоп Андрея Ерина жена относит в комиссионку. Старинная церковь, в которую влюбился под влиянием бесед с писателем столяр Семка Рысь, оказывается в конечном счете не такой уж старинной и не таким уж произведением искусства. Улицу, на которой прожил жизнь «мужик Дерябин», несмотря на все его ухищрения, его именем так и не назвали, а назвали Кривым переулком... Шофера Ивана из рассказа «В профиль и анфас», который так гордится тремя своими специальностями и «почти девятью классами образования» и который так мучается вопросом: «Для чего я работаю... Неужели только нажраться? Ну, нажрался... а дальше что?», в конце концов «за стакан вина да за кружку пива» лишают водительских прав...

Все так, и тем не менее никого из этих людей не зачислишь в неудачники. Даже злополучного Ивана, потому что эпизод с правами — действительно всего лишь эпизод в его жизни. В том-то и дело, что в основном-то, за исключением того, что попало в поле зрения писателя, это обычные, нормальные люди, живущие так называемой нормальной жизнью. Не находит себе удовлетворения лишь частица души, натуры, личности... Частица... Но не она ли и есть главное — слышится, как шелестит этот вопрос со страниц каждого рассказа... И порой, как бы даже изменяя собственному стилю, автор ставит его впрямую, публицистично. «Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай! — восклицает писатель, возвращаясь мыслями к образу человека, ставшего для него одним из самых сильных впечатлений детства,— и его тоже поминаю... И дума моя о нем простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например, что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа...» Собственно говоря, на этот-то вопрос Шукшин и отвечает всем своим творчеством.

Причины неудач и томлений героев Шукшина невозможно до конца объяснить лишь субъективными факторами, так или иначе сложившейся обстановкой личной жизни, развития родного села... Есть нечто более общее и важное...

В них — отражение реальных жизненных противоречий, особенностей времени.

Но при чем же здесь особенность времени, возразят мне, и почему именно в нашу пору, в нашей стране развитого социализма, предоставившей людям такие поистине невиданные возможности для всестороннего расцвета личности, эта неудовлетворенность у героев Шукшина приобретает особую остроту? И что здесь, собственно, от времени, а что лишь плод особым образом направленного творческого воображения художника?

Ну что же, что касается возможностей, предоставляемых обществом, они действительно велики, и их реализация на наших глазах дает бесчисленные и прекрасные результаты. Однако, оценивая как результаты, так и возможности, мы должны оставаться в наших расчетах на грешной земле и помнить, что возможности эти ограничены определенными историческими рамками, перепрыгнуть через которые дано отдельным людям, но не поколению в целом.

Только «в коммунистическом обществе,— писали Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии»,— где никто не ограничен каким-нибудь исключительным кругом деятельности, каждый может совершенствоваться в любой отрасли... делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотоводством, после ужина предаваться критике,— как моей душе угодно,— не делая меня, в силу этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком».

Из Антипа Калачикова, к примеру, может, и вышел бы действительно какой-нибудь виртуоз-балалаечник, но он должен был остаться шорником на всю свою жизнь, и наивно было бы вслед за ним самим полагать, что вся загвоздка тут лишь в златолюбивой супруге Антипа... То есть данный-то Антип, сложись чуть иначе его личная обстановка, может, и стал бы известным на всю страну виртуозом. Но какой-то другой Антип должен был бы, наступив на горло собственной песне, оставаться против желания шорников водовозом, слесарем... Вот об этом «другом», о всех «других», собственно, и писал всегда Шукшин.

Что же касается остроты переживания, остроты неудовлетворенности, то это-то как раз и понятно. В этом-то и есть знамение времени. Вместе с героями Шукшина мы живем в эпоху широко декларируемых возможностей. И декларация эта — отнюдь не только в словах, она в массе реалий, конкретно, зримо входящих в жизнь каждой семьи, каждого человека. Герои Шукшина живут в современной социалистической деревне, в современном городе, которые связаны друг с другом бесчисленными нитями. Они живут в мире бесконечно участившихся контактов, развитых коммуникаций, в мире, где — и это необходимо особо подчеркнуть — сломаны и быльем поросли перегородки социального, возрастного, сословного, образовательного характера, в мире, где, сидя на дедовской еще лежанке, можно наблюдать по телевидению кинокадры, сделанные советским спутником на планете Марс или Венера... В этом мире так легко можно забыть о злополучных исторических рамках, спутать свои личные возможности с резервами общества в целом, возмечтать о единоличной победе над микробами или с энтузиазмом взяться за вечный двигатель...

Социальный, научно-технический прогресс общества в целом обгоняет в наши дни возможности отдельно взятой личности. И личность от этого испытывает неудобство, пусть это и неудобство роста. Не случайно Моню Квасова, замыслившего вечный двигатель, так выводят из себя вопросы об образовании. Инженеру РТС Андрею Голубеву, молодому специалисту, с которым, кстати, Моня на «ты», Монино со-

общение о том, что им рождена-таки идея вечного двигателя, кажется, естественно, либо розыгрышем, либо бредом, «бредятиной». Ну, а Моне, которому уже «двадцать шестой год» и который «окончил семилетку в деревне, поучился в сельскохозяйственном техникуме полтора года, не понравилось, бросил... и теперь работал в совхозе шофером», Моне кажется ограниченностью, тупостью это вот неверие инженера, «дипломированной головушки». «До каких же, оказывается, глубин вошло в сознание людей, что вечный двигатель невозможен,— искренне негодует Моня.— Этак и выдумаешь его, а они будут твердить: невозможен». Инженер же, в свою очередь, доведенный до исступления уверенностью Мони, этой «упертостью», за которую так и кличут его в селе «упорным», почти кричит: «Ну, а чего же уж такая... самодеятельность-то тоже!.. Почти девять лет учился — и на тебе: вечный двигатель. Что же уж?.. Надо же понимать хоть такие-то вещи... Учиться надо, дружок».

«Да при чем тут учиться, учиться...— горячится Моня.— А ученых дураков не бывает?»

«Эта неравномерность — это кажущаяся неравномерность, здесь абсолютное равенство»,— заступаясь за незыблемость законов механики, уже учитель физики разъясняет Моне корень его ошибки. «Да горите вы синим огнем с вашим равенством!» — отвечает ему Моня, сгребая со стола чертежи.

При всем при том во всей остальной своей жизни и деятельности Моня действительно одаренный, живой, смышленый, деятельный парень, который «если ему влетела в лоб какая-то идея», всегда «своего добивался». И только вот с вечным двигателем не вышло...

Конечно же, проблема открытия и формирования таланта — это прежде всего проблема социальная. Ленин сразу же после победы Октября указал на те горизонты, которые в противовес старому обществу открывает перед личностью новое. Он показал, что только социализм впервые дает возможность «втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе—непочатой родник...» Воздавая должное великому гуманизму нового общества, Ленин, однако, учил всегда, в каждый конкретный момент оставаться в рамках реального...

Об этом же напомнил в своем докладе на XXV съезде партии Леонид Ильич Брежнев, приведя следующие ленинские слова: «По мере расширения и углубления исторического творчества людей должен возрастать и размер той массы населения, которая является сознательным историческим деятелем». Должен возрастать... Но не сразу, не вдруг, не по мановению волшебного жезла, а «по мере расширения и углубления исторического творчества людей».

Так выглядит проблема с точки зрения научного коммунизма. Шукшин открывает ту же истину чутьем, провидением художника. Она в его рассказах, во всем его творчестве пульсирует голубой жилкой на виске недотепы чудика. Слышится в тоскующем «Нужен праздник!» Егора Прокудина из «Калины красной» и в воркотне Антипа Калачикова, в торжествующем «Спокойствие, спокойствие, товарищ полковник, мы же не в Филях» Глеба Капустина, которого хлебом не корми, дай только «срезать» на чем-либо приехавшего на побывку в родное село Новое знатного земляка, будь то полковник, летчик, корреспондент или даже кандидат наук — чем «знатнее», тем заманчивее. «Пусть подумает на досуге. А то слишком много берут на себя».

Одним словом, она выступает в творчестве Шукшина во плоти и крови, эта истина, заключающая в себе и оптимизм и трезвость, праздничность и острастку одновременно.

Он рассказывает о своих чудиках с глубоко затаенной улыбкой, но не умиления или снисхождения, нет! С доброй и грустной улыбкой уважения, понимания, сострадания... Эти чудачества в людях он ценит, он дорожит ими всерьез, любуется ими или досадует, когда они принимают совсем уж искаженную форму.

Он в конце концов — сам — один из этих чудаков, только такой, в ком искра возгорелась огнем. Не случайно, играя своих героев в собственных фильмах, Шукшин всегда как бы один и тот же — внутренне и внешне. Да, все творчество его глубоко автобиографично. Притом, что ни в одном рассказе, ни в одном произведении он нигде ни прямо, ни косвенно не обращается к фактам собственной жизни. Исключение, правда, весьма многозначительное, составляет лишь известная всем статья «Кляуза», где Шукшин без обиняков и без всяких художественных приемов излил свои чувства по поводу стычки с вахтершей в больнице, куда к нему, больному, пришли родные. Право же, яростно сражающийся в больнице с вахтершей пациент, который тщетно и безрезультатно пытается доказать всего лишь то, что белое есть белое, а черное есть черное, что хорошо — это хорошо, а плохо — плохо, больной, забывающий о своей болезни в страстном и безуспешном стремлении восстановить в правах справедливость и достоинство, и, к примеру, Сашка Ермолаев из рассказа «Обида» — это один и тот же человек.

«Сашку Ермолаева обидели.

Ну, обидели и обидели — случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды, но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие... самый смысл жизни — это тоже, знаете, ...роскошь Себе дороже, как говорят».

Это вот намеренно «интеллектуализированное» рассуждение, которое, как это характерно и для большинства новелл, не поймешь от кого и идет, то ли от персонажа, то ли от рассказчика, Шукшин, три года спустя, столкнувшись со злобной вахтершей в больнице, мог бы и к себе обратить. В конце концов не самое страшное зло в жизни такая вахтерша и не самая главная мишень для писателя, обладающего в отличие от Сашки Ермолаева весьма крупнокалиберным оружием борьбы с темными сторонами жизни. Мог бы, но не обратил. Схватился с данным, пусть мелким, но конкретным злом, в котором в тот момент воплотились для него, наверное, вся пошлость, вся демагогия, вся пустота и ничтожество, какие сохранились еще в нашей жизни. Схватился и в отличие от Сашки, который в конце концов «покорно пошел домой», не покорился...

С тою же силой и непосредственностью, как и герой, должен был он пережить и восстать против унижения. И так же пережить торжество. Помните состояние Мони Квасова в ту ночь, когда уверен он был, что сотворил-таки, придумал свой вечный двигатель. «И даже не испытал особой радости, только удивился: чего ж они столько времени головы-то ломали... Моня мысленно вообразил вдруг огромнейший простор своей родины, России... и увидел себя на той равнине — идет спокойно по дороге, руки в карманах, поглядывает вокруг... И в этой ходьбе — ничего больше, идет и все — почудилось Моне некое собственное величие. Вот так вот пройдет человек по земле — без крика, без возгласов — поглядит на все тут — и уйдет. А потом хватятся: кто был-то! Кто был... Кто был...»

Вот в такой только лиро-иронической тираде и обнаружишь у Шукшина намек на самовыражение ..

Зато и многого же он стоит! Смысл тут не в том даже, что через героя сказано о себе. Шукшин и сам, быть может, удивился бы такому выводу. Смысл в том, что в нелепой этой затее, в «бредятине» сумел Шукшин увидеть глубокое напряжение и томление духа. Сумел, да и не мог иначе, высшей меркой оценить благородный и наивный порыв.

Ну и «Микроскоп», наконец. Разве не находим мы в Андрее Ерине с его первобытным почти преклонением перед силой науки, что-то от Шукшина с его священной верой в исцеляющую, волшебную силу искусства, собственного творчества... Героев Шукшина хватает на один порыв. Ему этого внутреннего огня хватило на целую жизнь, которая, однако, потому и была коротка, что сгорала на этом огне.

То, что слово — единственное оружие писателя — аксиома, ставшая трюизмом. Тем не менее в отношении Шукшина эту истину хочется повторить. С одним, правда, уточнением. Не слово вообще, а речь, живая разговорная речь, легко, непринужденно, словно ртуть, принимающая любые формы. Это ее стихия составляет ткань и содержание рассказов, их строительный материал. Именно она слышится и в диалогах, и в монологах героев, и в лаконичных авторских комментариях. Не случайно порой бывает так трудно определить, где начинается одно и кончается другое.

Язык рассказов художественно выразителен, но средства выразительности необыкновенно скромны, непритязательны, они все из арсенала устной речи. И подобно устной речи, слово Шукшина почти лишено привычных в литературе стилистических примет — гипербол, аллегорий, метонимий, развернутых сравнений... Что это, сознательное самоограничение? Вряд ли. Истинно творческая натура редко бывает способна диктовать себе ту или иную творческую манеру. Другое дело, что не всегда писатель сразу, в начале своего пути, находит свой голос, свою стихию.

Рассказы Шукшина — свидетельство того, что он себя в литературе нашел сразу и бесповоротно. Годы труда и творчества были лишь историей развития и совершенствования этой единственно ему свойственной манеры, которой он был одинаково верен и в рассказе, и в киносценарии, и в сатирической сказке. Может быть, только в романах, которые, кстати, ему меньше и удались, на мой взгляд, он попробовал отступить от нее. Видно, так уже припало Шукшину писать. Именно так и не иначе он умеет, а по-иному — нет. Поиск его шел до самого последнего дня, но прежде всего — в сфере содержания. Обладая прирожденной способностью слушать и слышать, запоминать и вторить всему, что звучит вокруг, Шукшин, следуя своим героям, легко и непринужденно объяснялся голосом сельского и городского жителя, человека старого закала и современной формации, рабочего, колхозного пастуха и слесаря, сельского бухгалтера и мастерового, столичного бюрократа и периферийного сноба... Он, наконец, с необыкновенной точностью улавливал и воспроизводил в собственной аранжировке — всерьез и пародируя — тот жаргон, ту неповторимую словарно-стилистическую мешанину, на которой говорит ныне огромное число людей, проживающих на социальных и географических перекрестках. Все это позволяло ему легко и непринужденно переходить не только от одной речевой манеры к другой, но и от одного жанра к другому, от одного к другому роду искусств...

Именно на этом пути и нашла свое воплощение могучая и неодолимая страсть художника к самовыражению — свободному, полному, не терпящему никаких преград и условностей.

...В коротком предисловии к вышедшему недавно двухтомнику избранных произведений Шукшина Сергей Залыгин небезосновательно замечает: «Все то, что... не очень художественно называют «художественным разбором» произведений искусства, для творчества Шукшина еще впереди. Время для них еще не настало, оно, может быть, только-только настает».

Я согласен с этим и хочу повторить, что главное сейчас — и для тех, кто пишет о Шукшине, и для тех, кто просто читает его и о нем, это охватить глазом хотя бы основные контуры здания, которое оставил нам Василий Шукшин, здания, которое, подобно шедеврам древнерусского зодчества, тем более поражает своим величием, соразмерностью всех своих частей внутри, чем менее громоздким, помпезным выглядит снаружи. У автора этих строк есть тут и свой, особый, личный интерес. Дело в том, что в начале 60-х годов я в качестве «ведущего номер» печатал в «Комсомолке» рассказ, который был чуть ли не первой публикацией совершенно мне тогда неизвестного автора — Василия Шукшина. Скорее цеховое любопытство и самомнение — еще бы, открыли талант! — чем подлинно профессиональный или читательский интерес, побуждало потом следить за появлениями Шукшина в литературной периодике... Не помню уж, как и когда это вот знакомое каждому редактору «собственническое» отношение к таланту отмерло, «отделилось», как сработавшая ступень ракеты, и уступило место совсем другому чувству. Коли посчастливилось увидеть, как великан учится ходить — этого уже не забудешь. Встретиться же с «живым» Шукшиным мне довелось еще лишь раз... в Париже, где я был в командировке от газеты, а он — гостем кинофестиваля.

Мы тогда не вспомнили о первой нашей встрече, и оттого еще свободнее, непринужденнее мне тогда было и потом рассуждать про себя о чуде, которое народилось и зажило в такой исторически неправдоподобно короткий срок — теперь, увы, уже между началом творчества Шукшина и его смертью.

После смерти писателя в нашей прессе появилось немало статей, где о Шукшине говорилось не иначе как в превосходной степени. Справедливо негодуя на то, что не все при жизни Шукшина сумели по-настоящему оценить его творчество, авторы статей говорили и о тех терниях, которых действительно немало было на пути Шукшина — как в кино, так и в литературе.

Невозможно сомневаться в том, что все эти или почти все выступления продиктованы самыми добрыми и благородными намерениями. Верно, что Шукшину было меньше, незаслуженно меньше, чем другим, отпущено разного рода представительских знаков внимания. Но у него главное было, и тут не убавить, не прибавить — всенародное признание. Миллионы знали и любили его и как артиста, и как писателя, и как режиссера...

Грешно было бы умалять препятствия и тернии на пути Шукшина. Но и свести все к обидам, чиновничьей ограниченности, мелким уколам завистников и недругов — значило бы мерить великое недостойной его меркой. Личность и талант подобной величины уже в силу самого масштаба своего несут в себе такую, высшего порядка, драму, на которую внешние обстоятельства как неблагоприятные, так и благоприятные, способны повлиять лишь в относительной степени. Путь, жизнь Василия Шукшина были ровно в той мере трудны, драматичны и счастливы, в какой это было предопределено са-

мим его талантом. Он был кинорежиссером и артистом первой величины, одним из крупнейших прозаиков современности. И то, что составляло его силу, незаурядность, как раз и осложняло ему объективно жизнь. Он не был человеком какого-то одного цеха. И писателям, быть может, казалось, что главное в Шукшине — это его работа в кинематографе, а в кино его нередко воспринимали как писателя, для которого кино — лишь увлечение... Тем более что и в кино-то одновременно работало как бы два Шукшина — артист и режиссер. В одной из посмертных статей о Шукшине, кстати, очень точно передается, как сам он тяжело нес эту неизбежную раздвоенность. Почерк Шукшина, его полное безразличие к внешнему — даже в том, как выходили, появлялись на свет белый его произведения. Он, мне кажется, был ярым ненавистником всяческих премьер и бенефисов. Только что сыграв в чьем-то фильме главную роль или выпустив свой собственный, он мог тут же мелькнуть где-то в эпизоде, во вставной новелле...

Наше натренированное и натруженное внимание ориентировано, как выражаются социологи, на определенные сигналы, символы. И мы уже привыкли к тому, что произведения, с которыми надо обязательно познакомиться, нам заранее «подадут». Шукшину и в голову не приходило заботиться о каких-то анонсах. Рассказы его всегда появлялись неожиданно. Он выдавал их малыми толиками — то в одном журнале, то в другом... Сборниками они стали выходить позднее — и все под неброскими, негромкими названиями — «Деревенские жители», «Характеры», «Беседы при ясной луне». И что бы он ни делал, все казалось — главное у этого богатыря впереди.

Если уж на то пошло, то главным «супостатом» самому себе, той топкой, в которой сгорела его жизнь за какие-нибудь сорок пять лет, был он сам, его талант, его натура, которые не давали ему передышки. И чтобы понять это, не надо даже знать факты его биографии, все это можно прочитать в его рассказах, увидеть в его картинах.

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Юрий ЦИШЕВСКИЙ

НАЧАЛО ПУТИ

Заметки с выставки молодых художников

Не только молодой, но и зрелый художник всегда с робостью и сердечным трепетом подходит к белому квадрату загрунтованного и натянутого на подрамник холста. Как много таинств содержит в себе этот белый квадрат и как много возможностей хранится в арсенале живописных приемов, накопленных веками у различных поколений художников, чтобы вдохнуть в него жизнь, превратить в картину, заставить волноваться зрителя!

А для того, чтобы избрать тот или иной прием, надо иметь творческий опыт, талант, фантазию и дерзкую смелость. Но к этому надо добавить еще одно необходимое для художника качество: уметь зорким глазом наблюдать окружающую жизнь, уметь ею восхищаться и удивляться ее самым, казалось бы, обычным проявлениям. Да, именно удивляться с наивностью ребенка, и только тогда краски на белом квадрате «заиграют», «запоют»...

Не все молодые художники из многих наших союзных республик, выставившие свои полотна в залах Академии художеств СССР в марте этого года, смогли в равной степени донести до зрителя всю значительность и всю романтическую приподнятость больших и малых проявлений окружающей нас жизни. Но интересных работ, подтверждающих высокую требовательность художника к своему мастерству, было показано немало. Не случайно также и то, что выставка открылась под крышей Академии художеств. Это говорит о том, что старшее поколение проявляет большую, отеческую заботу о молодой художнической поросли и дает ей возможность показать себя во всем многообразии творческих приемов, школ и национальных традиций.

Творческие приемы на полотнах молодых не везде были самостоятельны. Подчас тот или иной холст напоминал нам творческую манеру старых мастеров итальянской или голландской школы, иногда использовались стилевые приемы русского народного искусства или известных художников первых лет Советской власти. В развернувшейся дискуссии некоторые критики посчитали это «цитатами» из прошлого. Ну что ж, многие из молодых начинают с подражания своим учителям, и хорошо, что они начинают свой путь с изучения великого наследия мастеров реалистической школы, это помогает им осваивать мастерство, разыскать свою заветную дорогу в большое искусство. Мы видим, как эта дорога уже нащупывается на современной почве советской действительности.

На цветной вкладке и оборотных страницах обложки этого номера мы представили далеко не полную картину выставочной экспозиции, но даже по этим «фрагментам» читатель может судить о том, насколько разнообразны молодые мастера живописи, сколь не схожи их творческие поиски и насколько крепко их объединяет дерзновенное желание воспользоваться поэтическими метафорами, чтобы показать сложный и богатый мир своего современника — молодого человека эпохи строительства коммунизма.

●

Бор. ЕФИМОВ

ТРОЕ И ЧЕТВЕРТЫЙ

Содержание этой необычной книги можно изложить очень коротко и просто: вначале их было ДВОЕ, вскоре к ним присоединился ТРЕТИЙ, и тогда на белый свет появился ЧЕТВЕРТЫЙ.

Трое очень полюбили Четвертого. Привязались к нему всей душой, стали щедро и без остатка отдавать ему самое лучшее, чем в изобилии обладали сами,— талант, остроумие, трудолюбие, изобретательность, неутомимые искания нового, лучшего, более совершенного.

Трое окружили Четвертого самой нежной, отеческой и вместе с тем строгой, взыскательной и умной заботой. Не удивительно, что такое мудрое, терпеливое и настойчивое воспитание принесло прекрасные результаты: Четвертый не только не избаловался и не разленился, но, напротив, вырос настоящим полноценным работягой, инициативным и активным, шел от успеха к успеху и, создавая все новые и новые произведения сатирической графики, книжной иллюстрации и живописи, завоевал широчайшую популярность.

Прославленным художником, отмеченным высокими почетными званиями и наградами Родины, встретил в этом году Четвертый — Кукрыниксы свое пятидесятилетие.

Ну, а те Трое, о которых шла речь,— это, как читатель, наверно, уже догадался, Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов, народные художники СССР, Герои Социалистического Труда, академики, лауреаты Ленинской и нескольких Государственных премий.

История изобразительного искусства, как и литературы, знает немало примеров плодотворного творческого сотрудничества или, скажем проще, соавторства. Можно назвать целый ряд полотен, романов, пьес и других художественных произведений, созданных двумя, тремя, а то и целой бригадой авторов. Не все эти содружества выдерживали испытание временем или, если можно так выразиться, «совместимостью индивидуальностей». Но те, которые обнаруживали подлинную внутреннюю цельность, спаянность и взаимопонимание, продолжали существовать и плодотворно работать, неизменно привлекая самый живой интерес к своей творческой «кухне». Читателям и зрителям не давала покоя загадочная механика соавторства.

— Как вы работаете вдвоем? — без конца спрашивали, например, Илью Ильфа и Евгения Петрова. Хорошо известно шутливое объяснение, данное по этому поводу писателями-сатириками.

С Кукрыниксами дело обстояло, пожалуй, еще сложнее.

— Как это они работают втроем? — не перестали допытываться все, кого восхищало мастерство триединого коллектива. Кто из них всех «главнее»? Кто руководит работой? Может, кто-то один придумывает темы, а двое выполняют рисунок? Или наоборот? А если в чем-то не согласны? Решают творческие вопросы голосованием или, может быть, бросают жребий? Как все-таки они работают втроем?

Вспомним слова А. М. Горького: «Не знаю, существовала ли, и не думаю, что в области карикатуры могла существовать такая «единосущная и нераздельная троица», как наши Кукрыниксы».

Эти строки были написаны более сорока лет тому назад, на заре творческого расцвета Кукрыниксов. Сегодня, спустя несколько десятилетий их совместной работы, так убедительно подтвердившей абсолютную «единосущность и нераздельность» их содружества, можно с полной уверенностью сказать, никакой другой подобной троицы не существовало, не существует и, мне думается, существовать не может. И не только в области карикатуры, как предполагал А. М. Горький, но и в любом другом жанре художественного творчества. По своей слитности, согласованности и единству Кукрыниксы в истории мирового искусства — явление уникальное.

Это тем более поразительно, что люди-то они совсем разные.

И не только по внешности, которая, кстати сказать, настолько точно и красочно описана журналистом, бывшим в одно время с ними на Нюрнбергском процессе, что мне хочется заимствовать у него эти строки:

«...В зал вошли трое. Впереди, чуть семеня, маленький лысоватый человек, за ним—человек повыше, голубоглазый с есенинской кудрявой головой, а сзади неторопливо шагал на длинных ногах высокий мужчина, шагал очень прямо, как-то по-верблюжьи неся свою голову. У всех трех под мышками были одинаковые папки. Но у того, что семенил впереди, папка казалась огромной, а у того, что вышагивал сзади,— маленькой».

Повторяю, Кукрыниксы различны не только наружно. Они непохожи друг на друга и складом ума, характера, темперамента, многими другими свойственными любому человеку индивидуальными черточками.

Что же их так прочно объединило, сблизило и спаяло?

Есть в науке такое понятие — «химическое сродство».

Возможно, что в природе существует и некое «художественное сродство», то есть предельная близость, а подчас и полное совпадение вкусов, взглядов и воззрений в искусстве.

Прямо скажем, такое «сродство» не так уж часто встречается среди художников. Не случайно, как мне кажется, известная поговорка «О вкусах не спорят» постепенно сменяется на свою противоположность: именно о вкусах и спорят... По крайней мере в искусстве.

Думаю, что Кукрыниксы иногда горячо спорят между собой, в чем-то упорно не соглашаются,

яростно отстаивают друг перед другом то или иное решение, тот или иной вариант произведения. Допускаю, что тройственное согласие «договаривающихся сторон» приходит нелегко и не сразу. Но когда оно достигнуто, рождается именно то, что несет в себе драгоценное слияние таланта, умения и вдохновения каждого из трех,— рождается высокое мастерство Кукрыниксов.

И источник его в том главном и основном, что монолитно объединяет трех разных художников: принципиальность, честность и гражданственность творческих позиций, отношение к своей деятельности в искусстве как к высокому общественному и патриотическому долгу.

Пользуясь правом более чем полувековой личной дружбы с Кукрыниксами, мне хочется сказать еще об одном, всем троим свойственном качестве. Это их юмор. Может показаться, что я ломлюсь в открытую дверь. В самом деле: речь идет о знаменитых сатириках, юмористах. Есть ли надобность так торжественно сообщать, что им присуще чувство юмора? Разве это не разумеется само собой?

Конечно. Но тем не менее, вспоминая и рассказывая о Кукрыниксах, я прежде всего вижу их улыбки, слышу их смех — заразительный, жизнерадостный, озорной..

Сколько бы мы ни общались (а разве упомнишь все встречи на протяжении пяти десятков лет), всегда находился повод для веселого словца, и, наверно, не было случая, чтобы мы с Кукрыниксами разошлись, не посмеявшись от всей души, не обменявшись шутками, даже если речь шла о серьезных вещах.

О Кукрыниксах существует обширная литература. О замечательной тройце написано много статей, очерков, научных работ, книг. Не раз и я выступал в печати по поводу отдельных их произведений, рассказывал о нашей совместной поездке на Нюрнбергский процесс.

Но только теперь вышла в свет, как мне кажется, «главная» книга о них, дающая, бесспорно, наиболее полное представление о жизненном пути и творческой биографии художников. Очень ярко, живо и обстоятельно рассказывается о том, как в Москве, в Высшей художественной школе со странным названием «Вхутемас», счастливо сошлись пути трех талантливых юношей. Один из них приехал из Тетюшей, другой — из Тулы, третий — из Рыбинска. Как самый увлекательный роман читается повесть о том, как молодые художники-студенты познакомились, подружились и решили работать втроем.

К тому же в книге этой множество интереснейших эпизодов, фактов и воспоминаний о встречах с такими замечательными людьми, как А. М. Горький, В. В. Маяковский, В. Э. Мейерхольд, С. Я. Маршак, М. В. Нестеров и другие.

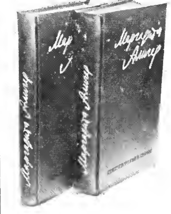
Прочитав эту книгу, мы уже очень хорошо знаем, каким образом Куприянов, Крылов и Николай Соколов научились, привыкли и уже не могли не работать втроем. И как все, что они сделали и чего достигли, они сделали и достигли втроем. И написали они эту отлично задуманную, оформленную и иллюстрированную книгу втроем. И называется эта книга тоже «ВТРОЕМ».

Хорошая книга!

Прекрасный подарок сделало читателям издательство «Советский художник».

Маргарита
НОГТЕВА

СОИЗМЕРЕНИЕ



Теперь уже невозможно представить свою жизнь без стихов Маргариты Алигер. Мне кажется, что она была со мной всегда — и в маленьком послевоенном школьном зале, и в годы юности, и, конечно, в пору любви и возмужания, а также в поисках ответа на трудные вопросы. Нередко говорят, что стихи пишутся кровью сердца. В отношении Маргариты Алигер это утверждение применимо почти в буквальном смысле: люди старшего поколения хорошо помнят, как в годы войны на третьей странице донорской книжки было напечатано стихотворение Маргариты Алигер «Кровь».

В который раз за свою жизнь, погружаясь в удивительно простую, начисто лишенную каких-либо притязаний на эффект, поэзию Алигер, невольно задаешься вопросом: в чем секрет ее силы, и поныне воздействующей на умы и сердца поколения, почему стихи, написанные сорок лет назад, заставляют вздрагивать нас, теперешних, хорошо знающих, казалось бы, всевозможные приемы мастерства и стихосложения? Почему не всем дано подняться до высокой, повелительной красоты этих строк:

Не лишай меня права тебя
ревновать,
задыхаясь от каменной муки.
Прикажи мне уйти для того,
чтоб узнать
освежающий холод разлуки.

Ответ на этот вопрос неожиданно содержится в стихотворении «Разговор в дороге» (к слову сказать, внутренний лирический диалог — излюбленный композиционный прием поэтессы): где-то в Забайкалье встречается она с ученым моралистом, назидательно призывающим изучать жизнь. Тонко и остроумно дается ему отповедь:

Мне хватало счастья и печали
Я бы, право, дорого дала,
чтобы вы чуть-чуть поизучали
то, что я сама пережила.

Разговор в дороге заканчивается беззащитной откровенностью героини:

Жизнь огромна, жизнь везде
и всюду,
чем полней, чем больше человек.
Я уж изучать ее не буду,
буду влюблена в нее вовек!

Жолон Мамытов

СТИХИ

На берегу реки

Камыши все мне кажутся шумной толпой,
Разделенной асфальтовой, сизой тропой.
И толпа, собираясь кружками,
Все колышется, машет флажками.
Так по берегу речки стоят камыши
В крупных, росных, сверкающих каплях,
И кричат и ликуют они от души,
Провожая бумажный кораблик.
А на палубе медленного корабля,
Золотую косу развевая,
Важно пери плывет водяная.
Что ей суша, трава, и камыш, и земля!
Ей дороже стихия родная.
Вот проснулась волна, и качнулась волна,
И пучина корабль заглотала,
И бумага течет и касается дна,
И подводною лодкою стала.
И тревожная тишь прошумела в глуши,
Замер ветер, и тронулся берег.
Толпы ждут возвращения пери...
Это видел я там, где стоят камыши,
И прошу вас виденью поверить.

Цветы

Ленивый ветер дул,
покачивая травы.
Кружился мирных пчел
жужжащий хоровод,
но взвизгнула коса,
и жатвою кровавой
усталые цветы
рассыпались вразброд.
Горела светотень,
играя на полянах.
Природы важный взор
упорно наблюдал,
как девушек толпа,
задорных и румяных,
построила скирды,
воздвигла сеновал.
Лишь много дней спустя
коров кормило сено.
Благоухал цветок,
свисая с языка...
И алых лепестков
перекипела пена
и хлынула струей
парного молока.

Перевел с киргизского
Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

Именно в этой неутоленной влюбленности в людскую жизнь по большому счету (помните знаменитое «Нам для счастья нужно очень много. Маленького счастья не возьмем») таится притягательность многих стихов Маргариты Алигер, стремящихся подчас к многоплановости поэмы, подробности рассказа, всеохватности романа:

...То мой роман, он должен
быть горой,
нет, целиной, нет, лучше океаном.
Нет, целой жизнью, долгою
порой.
И, временем подсказанный
герой
он должен в жизнь войти
с моим романом...

Вошли в эту книгу и поэмы «Твоя победа» и «Зоя», удостоенная Государственной премии. Поэму эту Маргарита Алигер писала в сорок втором году, через несколько месяцев после гибели Зои, по горячему следу ее короткой жизни и героической смерти. Поэма, до сих пор пронзающая душу читателя верностью истине, верностью времени, высоким примером комсомольской доблести.

Проза Маргариты Алигер, представленная во втором томе,— своего рода выход к океану народной судьбы, смелая попытка проникнуть в ее глубины опять-таки с помощью извечной женской способности любить и быть любимой, с той силой страсти, которая подобна извержению вулкана. «И кто это выдумал, будто бы человек живет только одну жизнь? Я лично в течение своей одной уже несколько раз жила, умирала и снова рождалась, и снова жила»,— размышляет она по возвращении из Чили. Записки о поездке в эту страну еще до фашистского переворота зажигают любовью ко всему, что выражает красоту народа этой страны, подверженной и землетрясениям, и моретрясениям, и суровым испытаниям эпохи. Книга о Чили населена живыми людьми со своей судьбой и неповторимыми обстоятельствами. Каждое новое знакомство приносит зримую радость общения, а вместе с тем и любовь к многострадальной чилийской земле. Ведь чтобы познать страну, надо ее полюбить, и никто не знает о Чили больше тех, кто ее любит. Так появляются на страницах книги подлинные патриоты Чили — Луис Корвалан, поэтесса Делия Домингес, писатель Рубен Асокар, школьная учительница Мария Годой, доктор Миранда, батраки, крестьяне, мапуче, что в переводе означает «люди земли» (так называет себя последнее из уцелевших индейских племен), художники, врачи, журналисты, студенты. И, конечно, Пабло Неруда, с которым довелось ей встречать Новый год в его вальпараисском доме, прилепившемся к крутому склону, откуда открывался вид на океан. Взволнованный рассказ о дружбе с Пабло Нерудой перемежается воспоминаниями о Фадееве времен его работы над «Последним из удэге», о Николае Заболоцком, мысленным возвращением к Пушкину, Толстому, Маяковскому. В толстом томе алигеровской прозы вы найдете ценнейшие воспоминания об Анне Ахматовой, Маршаке, Светлове, Чуковском, Эренбурге, М. П. Чеховой. У Маргариты Алигер характерная проза: написанная легко, без нажима, светящимся пером, она награждает читателей праздничным чувством беспредельности и необъятности человеческой жизни.

Евгений
ФЕДЮНИН,

шофер,
делегат XXV съезда КПСС

ХОЗЯЕВА

Вся жизнь Евгения Петровича Федюнина связана с работой на тяжелых дизельных машинах. Совсем молодым он сел на трактор. В армии был танкистом. А уволившись в запас, стал работать шофером в 29-м автокомбинате «Мосстройтранса».

Сейчас Евгений Петрович возглавляет бригаду водителей панелевозов. Первым в отрасли он начал работу по методу бригадного подряда. За досрочное завершение пятилетнего плана, за наивысшие показатели в социалистическом соревновании Федюнин удостоен Государственной премии СССР 1975 года. Евгений Петрович — депутат райсовета, член Московского городского комитета партии.

На страницах «Юности» Евгений Петрович Федюнин рассказывает о зарождении бригадного подряда в автотранспорте, о влиянии новых хозяйственных механизмов на нравственный климат рабочей бригады.

Как-то, будучи в отпуске, я проезжал через Запорожье. Вижу, у светофора грузовик. На борту написано: «Машина работает по методу Федюнина». Жена говорит: «И тут ты покою не даешь... Дома бригадный подряд, и в отпуске от него не спрячешься...»

Сказать, что идея бригадного подряда на автотранспорте родилась у меня, было бы бахвальством. Сама жизнь привела нас к этому... Давайте все по порядку.

В конце 1969 года на нашу автобазу — тогда она еще именовалась четвертой — пришло распоряжение «Мосстройтранса» оборудовать несколько машин под вывозку панелей. Оборудовали, подобрали четырех хороших парней водителями на эти панелевозы... Вроде бы все должно идти как по маслу, а что-то у ребят не клеится. В чем дело в конце концов понимаем. Бич перевозок — деление на длинные и короткие рейсы.

Длинные — выгодные. Тут набегают тонно-километры, за которые наш брат, шофер, хорошо получает. Погрузок-разгрузок на длинных рейсах — минимально. На коротких же — в дороге находишься, скажем, десять — пятнадцать минут, а рабочее шоферское время (в основном) на погрузку-разгрузку уходит. Шоферы — народ бойкий: диспетчеру дал шоколадку, получил выгодный длинный рейс. А другому невыгодный достается — опоздал, к примеру, человек путевку оформить, сиди на коротком. В результате один зарабатывает сто восемьдесят, другой — сто пятьдесят, а третий — все триста. Разница!.. А тут еще обида берет. Ну, как это такое! Я ему, можно сказать, себе в ущерб помогаю то баллон сменить, то рессоры поставить или, отрывая время от короткого рейса, тащу из канавы, а он получает в конце месяца триста рублей — вдвое больше меня!

Посоветовались мы в бригаде (нас тогда уже было восемь человек, и я вроде бы как старший). Решили: не годится такая организация — ни для заработка, ни для дела, ни для становления добрых отношений в коллективе.

Мы, конечно, знали о злобинском методе. «А что,— говорю,— ребята, если попробовать нам злобинский метод на транспорте?..» Прикинули, посчитали — годится. Правда, одно дело на бумаге, другое... Все же решили рискнуть. Идем к директору. Я ему спокойно, с расстановкой: «Берем на откуп завод. Все, что он будет выпускать, костьми ляжем, но вывезем...» И рассказываю о сути бригадного подряда применительно к нам, шоферам. Он меня выслушал и без лишних слов одобрил.

Мы заключили двусторонний договор с заводом железобетонных изделий № 4. Когда и как мы будем возить панели, сколькими машинами — это завод не интересовало. Коли мы взяли на себя коллективную ответственность за отгрузку, завод стал делать заявку не на количество машин, а на количество груза, обеспечивал нам исправные подъездные пути — и обязался соблюдать график отправки панелей. Точка. Ну, а если завтра, например, нужно будет вывезти